

The background of the cover is a detailed illustration of a dining room. In the center, a group of people is seated around a table covered with a white tablecloth. A man in a dark suit is leaning over the table, possibly serving or talking to the guests. A woman in a light-colored dress is seated on the right, looking towards the man. In the foreground, a woman with glasses is seated at a table, looking towards the viewer. The room has patterned wallpaper and a window in the background.

ЖАНКОЛЬ
САРТР

*Портрет
антисемита*

АСТИВНА КИТАПЧИКА

«Размышления о еврейском вопросе» — попытка выявить механизмы ненависти. Сартр определяет здесь расизм как боязнь ответственности за собственную жизнь. Антисемитизм — это «страсть»: предубеждение, которое невозможно подтвердить фактами. То есть — «криводушие». Такое неприятие определенного сообщества подобно некоей скрывающей свое имя тревоге. Антисемит выдает свою боязнь углубиться в потаенные уголки своего сознания. Вместо того чтобы «выйти из самого себя», он по малодушию предпочитает спрятаться в ловушке радушной и внешней для него реальности.

- [Жан-Поль Сартр](#)

-

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
-

Жан-Поль Сартр

Размышления о еврейском вопросе

Если некий человек придерживается того мнения, что несчастья страны и его собственные несчастья полностью или частично объясняются присутствием в обществе еврейских элементов, если он предлагает исправить такое положение и для этого лишит евреев тех или иных гражданских прав, или отстранить их от выполнения определенных экономических и социальных функций, или выслать их с той или иной территории, или уничтожить их всех, то говорят, что этот человек — антисемит.

"Мнение" — это слово заставляет задуматься... Именно его употребляет хозяйка дома, прекращая спор, который грозит обостриться. Это слово предполагает, что все точки зрения равноправны, оно успокаивает и придает мыслям безобидный вид, уподобляя их вкусам. Любые вкусы возможны и естественны, любые мнения допустимы: о вкусах, цветах и мнениях не спорят. И вот, во имя демократических принципов и свободы мнений, антисемит требует признать его право провозглашать повсюду антиеврейский крестовый поход. В то же время, приученные со времен Революции рассматривать всякий объект аналитически, то есть воспринимать его как смесь, которую можно разделить на составляющие, мы представляем себе людей и характеры как мозаику, в которой каждый камешек мирно сосуществует с соседями, так что это сосуществование никак не сказывается на нем самом. Точно так же, антисемитизм как мнение представляется нам в виде молекулы, которая может, не претерпевая изменений, входить в соединение с какими-то другими молекулами. Человек может быть хорошим мужем и отцом, ревностным гражданином, высокоэрудированным, не чуждым филантропии и в то же время — антисемитом. Он может любить рыбалку, дом и семью, быть терпимым в вопросах религии, благородно сочувствовать коренному населению Центральной Африки и в то же время — ненавидеть евреев. Ну, если он их не любит, говорят нам, значит, он на своем опыте убедился, что евреи плохие, значит, статистики убедили его, что евреи опасны, значит, определенные исторические факты повлияли на его умонастроения. Таким образом, это мнение предстает неким результатом, сложившимся под воздействием внешних причин, и те, кто хотят разобраться в нем, оставляют за скобками саму личность антисемита и углубляются в подсчеты процента евреев, мобилизованных в 1914 году, процента евреев-банкиров, евреев-промышленников, врачей, адвокатов, и углубляются в историю евреев с момента их первого появления во Франции. Они полны решимости получить строго объективную картину, выявив динамику эволюции некоего — столь же объективного мнения, называемого антисемитизмом; в результате они смогут составить карту и установить изменения, происшедшие между годами 1870 и 1944-м. Благодаря этим усилиям антисемитизм представляется одновременно и субъективным вкусом, который входит в соединение с другими вкусами, формируя личность субъекта, и неким надличностным социальным феноменом, который можно выразить в цифрах и представить статистически, с учетом изменений экономических, исторических и политических констант.

Я не говорю, что эти две концепции обязательно противоречат друг другу, — я говорю, что они опасны и ложны. Я готов, в крайнем случае, согласиться с тем, что кто-то может иметь то или иное мнение о политике правительства в области виноделия, то есть с тем, что кто-то приходит к обоснованному решению одобрить или осудить свободный импорт алжирских вин, другими словами, выразить свои взгляды на существующий

административный порядок. Но я отказываюсь назвать мнением доктрину, которая явно направлена против определенных людей и призвана обосновать ликвидацию их прав или их уничтожение. Еврей, в которого целится антисемит, — это не абстрактный объект, определяемый в административном праве своими функциями, а в уголовном кодексе — своим положением и поступками. Нет, это еврей, сын еврейских родителей, его можно отличить по его внешности, по цвету волос, быть может — по одежде и, как утверждают, по характеру. Антисемитизм не относится к разряду идей, подпадающих под защиту права на свободу мнений.

И потом, это совсем не идея; антисемитизм — это прежде всего страсть. Разумеется, она может представать и в виде теоретической посылки. «Умеренный» антисемит — это вежливый человек, мягко говорящий вам: "Лично я совсем не испытываю ненависти к евреям. Просто я считаю, что в силу таких-то и таких-то причин следовало бы ограничить их участие в жизни страны". Но если вам удастся снискать его доверие, то минутой спустя он прибавит уже в более непринужденной манере: "Видите ли, в этих евреях все-таки что-то такое должно быть: они мне физически неприятны". Суждение, которое я слышал десятки раз, заслуживает того, чтобы в нем разобраться. Прежде всего, логика этих слов — логика страсти. Ну, в самом деле, попробуйте вообразить человека, серьезно говорящего: "Все-таки в помидорах что-то такое должно быть: я их терпеть не могу". Но мало того, оказывается, что самый умеренный, самый утонченный антисемитизм сохраняет всю свою синкретическую тотальность, которая выражается в рассуждениях внешне разумных — и то же время способна привести к отклонениям вплоть до соматических. Не единичный пример: мужчина, у которого неожиданно пропадает потенция в тот момент, когда он узнает, что спит с еврейкой. Отвращение к евреям аналогично отвращению иных людей к китайцам или к неграм. И это отталкивание отнюдь не телесного происхождения, поскольку вы можете преспокойно любить еврейку, не зная о ее национальности, — нет, возбудитель проникает в тело через мозг, при этом происходит столь глубокое и тотальное вовлечение души, что оно сказывается даже на физиологии — подобно тому, как это бывает при истерии.

Вовлечение это не обусловлено жизненным опытом. Я десятки раз спрашивал людей, каковы причины их антисемитизма. Большинство ограничилось перечислением пороков, традиционно приписываемых евреям. "Я их ненавижу, потому что они корыстолюбцы, интриганы, зануды, прилипчивые, бестактные и т. д." — "Но вы, по крайней мере, знакомы с некоторыми из них?" — "Что вы, упаси бог!". Один художник мне сказал: "Я не люблю евреев за то, что они, с их вечной манерой все критиковать, подталкивают наших слуг к неповиновению". А вот примеры более конкретного учета жизненного опыта. Молодой бездарный актер считает, что карьеру в театре ему помешали сделать евреи, это они отодвинули его на вторые роли. Молодая женщина говорит мне: "У меня ужасные неприятности с меховщиками, они меня ограбили. Я отдала им шубу, а они мне ее уничтожили. Конечно, они там все евреи". Но почему же она выбрала объектом ненависти евреев, а не меховщиков? И почему — евреев или меховщиков, а не такого-то еврея или такого-то конкретного скорняка? Потому, что она уже носила в себе эту предрасположенность к антисемитизму. Один сослуживец по лицу говорил мне, что евреи его раздражают из-за тех тысяч несправедливостей в их пользу, которые совершаются в «объевреившемся» общественном организме. "Какого-то еврея взяли по конкурсу в тот год, когда меня прокатили, но я никогда не поверю, что этот тип, отец которого приехал из какого-нибудь Кракова или Лемберга, способен понять поэму Ронсара или эклогу Вергилия

лучше меня". В то же время он признался, что вообще презирает конкурсы, что все это "дело темное", и что к экзамену он не готовился. Таким образом, для объяснения своего провала он использовал две системы интерпретации — как тот сумасшедший, который в бредовом воодушевлении провозглашает себя королем Венгрии, но если задать вопрос неожиданно, признается, что вообще-то он сапожник. Его мысль текла в двух плоскостях, и он не испытывал от этого никаких неудобств. Более того, он оправдывал свою прошлую лень, говоря, что было бы уж совсем глупо еще готовиться к такому экзамену, где евреям оказывают предпочтение перед настоящими французами. С другой стороны, в окончательном списке он оказался двадцать седьмым. Его обошли двадцать шесть человек, из них двенадцать было принято, четырнадцать — нет. Стал бы он более достойным кандидатом, если бы евреи были исключены из конкурса? И даже если бы он был первым среди непрошедших, даже если бы в результате исключения одного из принятых кандидатов он мог получить шанс занять его место, — почему исключенным должен был стать еврей Вейль, а не нормандец Мэтью или бретонец Арзель? Негодование моего коллеги — необходимое следствие определенных, давно им усвоенных взглядов на евреев, на их природу и их роль в обществе. А его уверенность в том, что из всех двадцати шести претендентов, оказавшихся удачливее его, именно еврей украл его место, — эта уверенность говорит о том, что коллега в своей жизни предпочитал руководствоваться априорной логикой страсти. Так жизненный ли опыт человека пролил свет на его представления о евреях? Совсем нет, напротив: сам человек освещает свой опыт — и если бы евреев не существовало, антисемит выдумал бы их.

Хорошо, скажут мне, оставим в покое опыт, но не следует ли принять объяснение антисемитизма определенными историческими причинами? Ведь не святым же духом в конце концов он возник! Я мог бы просто ответить, что история Франции ничего особого не говорит о евреях: их притесняли вплоть до 1789 года, впоследствии они участвовали как могли в жизни страны, используя — это несомненно — свободу конкуренции для вытеснения слабых, но ничуть не больше и не меньше, чем все остальные французы; они не совершили ни предательства страны, ни преступления против страны. И если кто-то считает установленным, что число солдат еврейской национальности в 1914 году было меньше того, каким оно должно было быть, то это значит, что любопытство подвигло человека на чтение статистик, потому что этот «факт» — не из разряда самоочевидных: ведь ни одному солдату, если он думает сам, не придет в голову удивляться тому, что он не видит евреев на узком участке, составляющем весь его мир. Но поскольку те представления о роли евреев, которые извлекаются из истории, все-таки существенно зависят от принятых исторических концепций, я полагаю, что будет лучше позаимствовать какой-нибудь громкий пример "еврейской измены" из истории другой страны и прислушаться к тому, как резонирует эта «измена» в современном антисемитизме.

Подавляя многочисленные восстания, обогрившие кровью XIX век Польши, царское правительство по политическим соображениям щадило варшавских евреев, и они проявили, с точки зрения повстанцев, чрезмерную лояльность к властям; кроме того, не приняв участия в выступлениях, они сумели сохранить и даже увеличить свои торговые обороты в стране, разоренной репрессиями. Так ли это было на самом деле или нет, я не знаю, но несомненно, что многие поляки верят в это, и сей "исторический факт" немало способствовал развитию антиеврейских настроений в Польше. Однако, изучив эту историю более внимательно, мы обнаружим в ней порочный круг. Цари, говорят нам, не причиняли зла евреям в Польше. В

то же время, они с удовольствием организовывали еврейские погромы в России. Столь различные линии поведения имели общую причину: русское правительство считало евреев в России и в Польше неспособными ассимилироваться и, следуя нуждам своей политики, устраивало массовые убийства их в Москве или Киеве (чтобы не ослабляли империю), в Варшаве же оно им покровительствовало для того, чтобы поддерживать рознь среди поляков. Последние, напротив, проявляли к польским евреям только ненависть и презрение, но причина была та же: и они считали, что евреи не способны интегрироваться в общество. Отторгнутые от окружающих царем, отторгнутые поляками, оказавшиеся внутри чуждого сообщества, евреи против собственной воли замыкаются в кругу национальных интересов, — что же удивительного, если «нацмены» ведут себя соответственно тем представлениям, которые о них сложились? Другими словами, суть здесь не в "историческом факте", а в образе еврея, сложившемся у активных субъектов истории. И когда нынешние поляки предъявляют счет евреям за их поведение в прошлом, они видят перед собой все тот же образ: ведь для того, чтобы спрашивать с внука за прегрешения деда, нужно обладать крайне примитивным пониманием ответственности. Но этого даже мало, нужно еще, чтобы сложилось определенное отношение к внуку, основанное на некогда существовавшем отношении к деду; нужно поверить, что потомки способны сделать то же, что сделали предки, — нужно убедить себя в том, что характер еврея передается по наследству. Современные поляки третируют евреев за то, что они евреи, в 1940 году, потому что их предки в 1848 году вели себя так же по отношению к своим современникам; и может быть, это традиционное представление, проявись оно в соответствующих условиях, как раз подтолкнуло бы нынешних евреев действовать, как те в 48-м. И оказывается, что созданный образ еврея определяет историю, а не "исторический факт" рождает образ. Нам говорят еще о "социологических данных", но, рассмотрев их внимательнее, мы опять обнаруживаем все тот же порочный круг. Нам говорят: адвокатов-евреев слишком много. Но разве кто-нибудь жалуется на то, что слишком много адвокатов-нормандцев? Если бы даже все бретонцы были врачами, разве мы не ограничились бы фразой типа: "Бретань обеспечила врачами всю Францию". Ну, ответят нам, это совсем не одно и то же. Конечно — но именно потому, что мы представляем себе не человека-нормандца и человека-еврея, а образ нормандца и образ еврея. Итак, с какой стороны ни подойти, оказывается, что именно образ еврея определяет существо дела.

Для нас становится очевидным, что никакие внешние факторы не способны внедрить в антисемита его антисемитизм. Антисемитизм — это свободный и тотальный выбор самого себя, это тотальный подход не только к евреям, но и вообще — к людям, к истории и к обществу, это одновременно и страсть, и мировоззрение. Разумеется, те или иные характерные особенности у одного антисемита выражены ярче, чем у другого, но все они всегда присутствуют вместе: они взаимосвязаны и взаимозависимы. Именно эту синкретическую, нерасчлененную тотальность мы и постараемся сейчас описать.

Чуть выше я отмечал, что антисемитизм проявляет себя в форме страсти. Всем понятно, что речь идет о ненависти или гневе. Но мы привыкли к тому, что и ненависть, и гнев должны иметь причину: я ненавижу того, кто причинил мне боль, того, кто меня обидел или оскорбил. Как мы видели, страсть антисемитизма отнюдь не такова: она предшествует тем событиям, от которых должна была бы родиться, она старательно ищет их, чтобы подпитаться ими, она вынуждена даже по-своему интерпретировать эти события, чтобы они стали по-настоящему оскорбительны. Тем не менее, если вы заговариваете о евреях с

антисемитом, он проявляет все признаки явного неудовольствия. Впрочем, достаточно вспомнить, что гнев проявляется у нас только тогда, когда мы на это согласны (в языке это выражено абсолютно точно: мы гневаемся, то есть гневим себя), и мы должны будем признать, что антисемит выбирает жизнь в режиме страсти. Случаи выбора в пользу жизни скорее страстной, чем разумной, совсем не редки, но при этом, как правило, любят объект страсти, — женщина ли это, слава, власть или деньги. Поскольку антисемит выбирает ненависть, мы вынуждены заключить, что он любит само состояние страсти. Как правило, такой стиль чувствования не доставляет особого удовольствия. Тот, кто страстно желает женщину, стремится к женщине, а не к страсти, которая только мешает: ведь приходится избегать, с одной стороны, логики страсти, стремящейся любой ценой обосновать взгляды, продиктованные любовью, ревностью или ненавистью, а с другой — ослепления страсти, и того, что называют навязчивой идеей. Антисемит, напротив, выбирает прежде всего это. Но как же можно выбрать заведомо ошибочную логику? К этому толкает "ностальгия по непробиваемости". Поиски истины для разумного человека мучительны; он знает, что полученные выводы не более чем вероятны, что другие соображения, появившись, поставят их под сомнение, он никогда не знает точно, к чему он придет, он «открыт», и его могут посчитать колеблющимся. Но есть люди, которых влечет постоянство камня. Они хотят быть монолитными и непробиваемыми. Они не хотят меняться: поди знай, куда приведут эти изменения. Это — первородный страх самого себя, — и это страх истины. И пугает их не то содержание истины, о котором они даже не подозревают, а сама форма истины как бесконечного приближения, — ведь это все равно как если бы само их существование все время откладывалось. А они хотят осуществиться тотчас и сразу. Они не хотят вырабатывать взгляды, они желают иметь врожденные, они боятся рассуждать и поэтому хотят такой жизни, в которой рассуждения и искания играют второстепенную роль, в которой всегда ищут только то, что уже нашли, в которой всегда становятся только тем, чем уже стали. Такое возможно только в страсти. Лишь пристрастность сильного чувства способна мгновенно дать уверенность, лишь она способна сковать рассудок и оградить его от жизненного опыта непробиваемой стеной длиной в жизнь. Антисемит выбрал ненависть, потому что ненависть есть вера; он изначально выбирал то, что девальвирует для него слова и резоны. И как же хорошо он теперь себя чувствует! Как мелки и бессодержательны кажутся ему дискуссии о правах евреев — они ему с самого начала неинтересны, он — в другом измерении. Если он и согласится из любезности сказать пару слов в защиту своей точки зрения, то это даже не подарок, а так, одолжение, легкая попытка спроецировать свою интуитивную уверенность на плоскость спора, не более. Выше я цитировал некоторые «высказывания» антисемитов, они вполне абсурдны: "Я ненавижу евреев, потому что они учат слуг неповиновению, потому что скорняк-еврей меня ограбил" — и т. п. Не думайте, что антисемиты не замечают абсурдности своих ответов. Нет, они прекрасно знают, что их суждения легковесны и спорны; они просто развлекаются. Это их противник обязан серьезно относиться к словам, потому что он в слова верит, а они — они имеют право играть. Они даже любят эту игру в диспуты, потому что, приводя смехотворные доводы, они дискредитируют серьезность своих собеседников; они в восторге от собственной недобросовестности, потому что задача их не в том, чтобы убедить настоящими аргументами, а в том, чтобы смутить или дезориентировать. Если же вы начинаете уж слишком их теснить, они замыкаются и пренебрежительно заявляют вам, что время споров прошло, но это не потому, что для них болезненно поражение, нет, они только боятся, что

будут смешно выглядеть или что их замешательство плохо повлияет на зрителей, которых они хотели бы привлечь в свои ряды. Таким образом, невосприимчивость антисемита к аргументам рассудка и опыта, в которой каждый может убедиться сам, объясняется отнюдь не силой его убежденности, а скорей, наоборот: его убежденность сильна, потому что он с самого начала решил быть невосприимчивым.

Он решил также быть страшным. Его стараются не раздражать. Еще бы: никто же не знает, до каких крайностей он может пойти в пароксизмах своей страсти. Зато он это знает. Ведь его страсть не провоцируется никакими воздействиями извне, он прекрасно держит ее в руках, то дает ей волю, то обуздывает, и распускает ровно настолько, насколько хочет. Своей страстью он не обеспокоен, но когда он видит отразившееся в глазах окружающих беспокойство, он видит свое отражение, и уж он старается, чтобы его слова и жесты соответствовали этому отражению. Этот внешний имидж избавляет его от необходимости искать свою индивидуальность в себе самом; он сделал выбор: жить только вовне, никогда не возвращаться к себе и быть только страхом, который он вселит в других. Даже от Разума он не бежит так, как от собственного тайного знания о самом себе. Но, скажут мне, а что, если он такой только по отношению к евреям? Что, если в остальном он ведет себя как нормальный человек? Увы, отвечу я, это невозможно. Я вспоминаю 1942 год. Некий рыботорговец, раздраженный конкуренцией двух рыботорговцев-евреев, скрывавших свою национальность, в один прекрасный день взял в руку перо и донес на них. Меня уверяли, что это исключение, что он добрый, веселый человек и замечательно заботливый сын, но я этому не верил. Человек, для которого приемлемо доноительство, не может разделять наших представлений о человечности; даже на тех, кому он покровительствует, он смотрит иначе, чем мы, и его доброта, и его нежность — не такие, как у нас: страсти не поддаются локализации.

Антисемит готов согласиться, что евреи умны и трудолюбивы, он даже признается, что в этом смысле он будет послабее. Такая уступка ему ничего не стоит: эти качества он просто "выносит за скобки". Или, вернее, они входят в его подсчет с отрицательным знаком: чем больше у евреев достоинств — тем они опаснее. Что касается самого антисемита, то он на свой счет не заблуждается. Он знает, что он человек средних способностей, даже ниже средних, и в глубине души сознает: он — посредственность. Чтобы антисемит претендовал на индивидуальное превосходство над евреями, таких примеров просто нет. Но не надо думать, что он стыдится своей посредственности, напротив, он доволен ею, он сам ее выбрал, — я говорил об этом. Этот человек боится какого бы то ни было одиночества, будь то одиночество гения или одиночество убийцы. Это человек толпы: уже и так трудно быть ниже его, но на всякий случай он старается еще пригнуться, боясь отделиться от стада и оказаться один на один с самим собой. Он и стал-то антисемитом потому, что не может он существовать совсем одинокий. Фраза: "Я ненавижу евреев", — из тех, какие произносят только в группе; произнося их, говорящий как бы вступает в некие наследственные права, вступает в некий союз — в союз посредственностей. Здесь стоит напомнить, что признание собственной посредственности совсем не обязательно ведет к скромности или хотя бы к умеренности. Совсем напротив, посредственность страстно гордится собой, и антисемитизм — это попытка посредственностей возвыситься именно в этом качестве, создать элиту посредственностей. Для антисемита ум, интеллигентность — признаки еврея, и он может совершенно спокойно презирать их наравне со всеми прочими еврейскими достоинствами: подобными эрзацами евреи пользуются для того, чтобы заменить ту спокойную

посредственность, которой им вечно не хватает. Настоящему французу с глубокими деревенскими, народными корнями, несущему в крови традиции двадцати веков, впитавшему мудрость предков и блюдущему издревле установленные обычаи, интеллигентность ни к чему. Его нравственность основана на усвоении того, что наслоилось после сотни поколений, трудившихся надо всем, что их окружало, — то есть на собственности. Но само собой понятно, что речь тут идет о собственности унаследованной, а не приобретенной. Антисемиту чужд сам принцип многообразия форм современной собственности: деньги, акции и т. п. — это все абстракции, порождения ума, нечто относящееся к сфере абстрактного семитского интеллекта. Акция не принадлежит никому, потому что может принадлежать любому, и потом, это только символ богатства, а не конкретное имущество. Антисемит понимает только один тип примитивного, территориального приобретения, основанный на поистине магическом отношении владения, в котором предмет владения и владелец связаны узами мистической сопричастности. Антисемит — поэт землевладения. Оно преобразует владельца и одаряет его особой, конкретной чувствительностью. Разумеется, это чувствительность не к вечным истинам и не к всечеловеческим ценностям: всечеловеческое — это объект умозрительный, это — еврейское. А сие тонкое чувство улавливает как раз недоступное умственному взору. Иными словами, принцип антисемитизма в том, что конкретное владение неповторимым объектом магическим образом создает чувство этого объекта. Моррас уверяет, что строчку Расина:

И мне предстал Восток постылым и пустым^[1]

еврею никогда не понять. Почему же я, — я, посредственность, способен понять то, что не может охватить самый просвещенный, самый пронизательный ум? А потому что Расин — мой. И Расин, и язык, и земля. И пусть еврей говорит на этом языке лучше меня, пусть он лучше знает синтаксис и грамматику, пусть он даже писатель — это ничего не меняет. Он на этом языке говорит каких-нибудь двадцать лет, а я — тысячу! Литературность его абстрактна, выучена, а мои ошибки в родном языке — конгениальны языку. Все это очень напоминает филиппики Барреса против коммерческих посредников. Чему тут удивляться? Разве евреи не играют в обществе роль посредников? Все, чего можно достичь умом или деньгами, мы им разрешаем, все это ерунда, у нас идут в счет только иррациональные ценности, и вот этих-то ценностей им не видать никогда! Таким образом, антисемит с самого начала фактически погружается в иррационализм. Он относится к еврею, как чувство к разуму, как единичное к всеобщему, как прошлое к настоящему, как конкретное к абстрактному, как землевладелец к владельцу движимого имущества. А между тем многие антисемиты, возможно даже — большинство, принадлежат к мелкой городской буржуазии; это функционеры, служащие и мелкие дельцы, ничем вообще не владеющие. Но как раз участвуя в травле евреев, они неожиданно узнают вкус этого чувства собственника: изображая евреев грабителями, антисемит ставит себя в завидное положение человека, который может быть ограблен, и поскольку грабители-евреи хотят отнять у него Францию, то именно Франция — его собственность. Итак, он выбрал антисемитизм как средство реализовать себя в качестве собственника. У еврея больше денег, чем у него? — тем лучше: деньги — это еврейское, и антисемит готов презирать деньги, как он презирает ум. Землевладелец из провинции и крупный фермер богаче его? — не имеет значения: ему

достаточно разжечь в себе мстительный гнев против еврейских грабителей, и он немедленно почувствует, что у него в руках вся страна. Настоящие французы, истинные французы — все равны, потому что каждый из них единолично владеет всей Францией.

Я также назвал бы антисемитизм снобизмом для бедных. В самом деле, большинство наших богатых скорее используют антисемитские страсти, чем предаются им: у них есть занятия поинтереснее. Антисемитизм распространен в основном среди представителей средних классов — и именно потому, что они не владеют ни дворцами, ни домами, ни землей, а только наличными деньгами и какими-нибудь ценными бумагами. Антисемитизм в мелкобуржуазной среде Германии 1925 года совсем не случаен. Эти "пролетарии в белых воротничках" считали делом своей чести отличаться от настоящего пролетариата. Крупная промышленность разоряла их, юнкерство глумилось над ними, но именно к промышленникам и юнкерам стремились они всею душой. Они предавались антисемитизму с тем же увлечением, с каким следовали буржуазной моде в одежде, потому что рабочие были интернационалистами — и потому что Германией владели юнкеры, а они тоже хотели ею владеть. Антисемитизм не только утешает ненавистью, но приносит и позитивные удовольствия: объявляя еврея существом низшим и вредоносным, я утверждаю тем самым свою принадлежность к элите. И эта элита очень отличается от новейших, выделившихся по достоинствам или по заслугам, — эта элита во всех отношениях подобна родовой аристократии. Мне ничего не надо делать для того, чтобы заслужить мое превосходство, и я ни при каких условиях не могу его потерять. Оно дано мне раз и навсегда: это — вещь.

Не будем путать это принципиальное первородство с нравственным авторитетом: антисемит не так уж стремится его иметь. К нравственности, как и к истине, путь нелегкий, и авторитет еще надо заслужить, а уже заслужив, постоянно рискуешь его потерять: один безнравственный шаг, одна ошибка — и он утрачен; то есть всю свою жизнь, без передышки, от начала ее и до конца ты ответственен за то, что ты собой представляешь. Антисемит бежит от ответственности точно так же, как он бежит от собственного сознания, и, выбрав в качестве основы своей личности каменное постоянство, он в основу своей морали кладет окаменевшую шкалу ценностей. А по этой шкале, что бы он ни сделал, все равно он всегда останется на верхней отметке, и что бы ни сделал еврей, ему никогда не подняться с нижней. Мы начинаем улавливать смысл сделанного антисемитом выбора: боясь собственной свободы, он выбрал неисправимость, боясь одиночества, он выбрал посредственность, — и эту неисправимую посредственность он спесиво возвел в ранг вечной аристократии. Для осуществления всех этих операций ему абсолютно необходимо существование еврея — иначе над кем же у него будет превосходство? Более того, только по отношению к евреям и единственно по отношению к евреям антисемит реализует себя в качестве лица, наделенного каким-то правом. Если бы, чудесным образом, его желания осуществились, и все евреи оказались уничтожены, он обнаружил бы себя консьержем или лавочником в весьма иерархичном обществе, в котором титул "настоящего француза" ничего не стоит, потому что есть у всех, — и он потерял бы ощущение своих прав на страну, потому что уже некому было бы их у него оспаривать, и изначальное равенство, приблизившее его к благородным и богатым, исчезло бы в тот же миг, потому что оказалось бы особенно неприятным. Свои провалы, которые он приписывал коварной конкуренции со стороны евреев, ему срочно пришлось бы перекладывать на кого-то еще — иначе пришлось бы задать кое-какие вопросы самому себе; он рисковал бы впасть в меланхолическую ненависть к привилегированным классам и испытать горькое чувство досады. Таким образом, проклятие

антисемита в том, что ему жизненно необходимо иметь врага — чтобы был кто-то, кого он будет истреблять.

Тот уравнилельный egalitarianism, которого так рьяно добивается антисемит, не имеет ничего общего с egalite — равенством, записанным в демократических программах. Это равенство должно реализовываться в обществе с иерархической экономикой и должно оставаться совместимым с различием общественных функций. Антисемит же требует равенства арийцев, которое направлено против иерархии функций. Он ничего не понимает и ничего не хочет понимать в разделении труда; по антисемиту, если гражданин и может претендовать на звание Француза, то не потому, что, находясь на своем месте, он интегрирован в свою профессию и — со всеми остальными — в экономическую, общественную и культурную жизнь страны, а потому, что на равных основаниях со всеми прочими обладает неотъемлемым и врожденным правом на всю страну без всяких разделений. Таким образом, общество, о котором мечтает антисемит, — сегрегированное общество; об этом, впрочем, нетрудно было догадаться, так как его идеал собственности — землевладение. Но антисемитов много, поэтому фактически каждый из них участвует в создании под сенью какого-либо организованного общества некоего ансамбля, члены которого связаны характерным механическим единомыслием. Степень интегрированности отдельных антисемитов в таком ансамбле, а также нюансировка его эгалитарности определяются тем, что я бы назвал температурой ансамбля. К примеру, Пруст показал, как антидрейфусизм сблизил герцога с его кучером, как ненависть к Дрейфусу открывала для буржуазных семей двери аристократических домов. Все это объясняется тем, что эгалитарные ансамбли, в которые стекаются антисемиты, по своему типу аналогичны толпе — или тем спонтанным сообществам, которые мгновенно образуются по случаю всякого линчевания или скандала. Здесь равенство — результат недифференцированности функций, роль социальной связи выполняет гнев, а коллективизм не имеет иной цели кроме осуществления над определенными индивидуумами какой-нибудь репрессивной санкции. Коллективные импульсы и коллективное давление воздействуют здесь особенно сильно, так как ни один из участников не защищен исполнением своей специализированной функции. К тому же в толпе помрачается рассудок; толпа воспроизводит мыслительные стереотипы и групповые реакции, характерные для первобытных сообществ. Конечно, такие коллективы порождает не только антисемитизм, — и мятеж, и преступление, и любая несправедливость может мгновенно вызвать их к жизни. Правда, все это — летучие соединения, которые вскоре распадаются, не оставляя следов. В промежутках между бурными приступами ненависти к евреям, то есть в периоды нормальной жизни страны, общество, которое образуют антисемиты, продолжает существовать — это его латентные периоды — и каждый антисемит числит себя его членом. Неспособный понять современную организацию общественной жизни, он испытывает ностальгию по временам кризисов, когда вдруг снова появляются примитивные сообщества и достигают температур плавления. Ему хочется вдруг оказаться внутри обезличивающей группы, подхваченной потоком коллективного безумия. Эту-то желанную атмосферу погрома он и имеет в виду, когда требует "объединения всех патриотов". В этом смысле антисемитизм в условиях демократии — форма симуляции того, что называют борьбой гражданина с властями. Спросите одного из этих молодых людей, невозмутимо нарушающих закон и собирающихся в стаи, чтобы где-нибудь на пустынной улице избить еврея, — молодой человек вам ответит, что хочет сильной власти (которая избавила бы его от собственных мыслей и непосильной ответственности за них), а

республика для него — власть слабая; таким образом, он нарушает закон из любви к подчинению. Но действительно ли сильной власти он хочет? На самом деле он требует сурового закона для других и права нарушать закон, не неся ответственности, — для себя; он хочет поставить себя над законом, ускользнув при этом от сознания своей свободы и своего одиночества. И он прибегает к уловкам: евреи участвуют в выборах, евреи есть в правительстве, значит, законная власть порочна в самой основе, тогда можно считать, что ее больше не существует, и он вправе не обращать внимания на ее декреты — и нету тут никакого неподчинения, какое может быть неподчинение тому, чего не существует? Таким образом, у антисемита есть настоящая Франция, с настоящим правительством — хотя и несколько туманным и не имеющим функциональных органов, и Франция абстрактная, официальная, объевреившаяся, против которой можно и нужно восставать. Естественно, такое перманентное восстание — дело групповое: антисемит никогда не станет ни действовать, ни думать в одиночку. И его группа сама никогда не рассматривает себя в качестве партии меньшинства, потому что партия обязана изобрести программу и определить свою политическую линию — что уже предполагает инициативу, ответственность, свободу. Антисемитские объединения ничего не хотят изобретать, не хотят брать на себя никакой ответственности; им ненавистна сама мысль о том, чтобы присоединиться к одной из фракций, создающих французское общественное мнение, потому что тогда пришлось бы и поддерживать какую-то программу, и изыскивать возможности для легальных действий. Они предпочитают подавать себя в качестве наипреданнейших и наичистейших выразителей истинного, а значит, неделимого самосознания страны. Итак, всякий антисемит в той или иной степени — враг стабильности в государстве, он хочет быть дисциплинированным членом недисциплинированной группы, он обожает порядок, но порядок социальный. Можно сказать, что он стремится спровоцировать политические беспорядки для реставрации социального порядка, а социальный порядок ему представляется в виде эгалитарного примитивно-кастового общества с повышенной температурой, из которого евреи исключены. Такие принципы предоставляют ему в пользование своеобразную независимость, которую я бы назвал перелицованной свободой. Ведь подлинная, аутентичная свобода предполагает и ответственность, а «свобода» антисемита порождена уклонением от всякой ответственности. Плавающая между авторитарным режимом, которого еще нет, и официальным толерантным обществом, которого он не признает, он может позволять себе все что угодно, не рискуя прослыть анархистом — он этого ужасно боится. Особая серьезность его намерений, которую невозможно выразить никаким словом — ни рассуждением и ни действием — оправдывает некоторое его легкомыслие. Он проказлив, он шкодлив, он над кем-то измывается, кого-то лупит, у кого-то ворует — все из лучших побуждений. При сильном правительстве антисемитизм увядает — если только он не входит в программу самого правительства, но в этом случае его характер видоизменяется. Враг евреев, антисемит нуждается в них, враг демократии, он — естественный продукт ее жизнедеятельности и проявиться может только в условиях республики.

Мы начинаем понимать, что антисемитизм — не просто «мнение» о евреях, антисемитизм захватывает всю личность антисемита целиком. Но мы с ним еще не закончили. Антисемитизм не ограничивается только исполнением моральных и политических директив, он заключает в себе и образ мышления, и концепцию мира. В самом деле, ведь нельзя утверждать то, что утверждаешь, не выводя этого неявно из каких-то

интеллектуальных принципов. В еврее, говорит антисемит, плохо все, в нем все еврейское; его добродетели, если они у него есть, обращаются в пороки уже только потому, что принадлежат ему; работа, которая выходит из его рук, обязательно несет на себе его отпечаток, и если еврей построил мост, то это плохой мост, еврейский, — весь, от первого пролета до последнего. Одни и те же действия, совершенные иудеем и христианином, неравнозначны: все, к чему прикасается еврей, приобретает некие неизвестные, но отвратительные свойства. Нацисты прежде всего запретили евреям посещать бассейны: им казалось, что если тело какого-нибудь еврея погрузится в эту стоячую воду, она вся будет осквернена. Еврей же буквально отравляет воздух, которым он дышит. Если попытаться сформулировать в общем виде тот принцип, который здесь воплощается, он будет звучать так: целое больше суммы своих частей — и вообще что-то другое. Целое определяет и смысл, и глубинную суть тех частей, из которых состоит. Не существует одного такого качества «храбрость», такой черты характера, все равно — иудея или христианина (как кислороду все равно, входит ли он в состав воздуха с азотом и аргоном или в состав воды — с водородом), — нет: каждая личность — это нечто тотальное и неразложимое, со своей храбростью, своей добротой, своим способом мыслить, смеяться, есть и пить. Что тут скажешь? — только то, что в миропонимании антисемита господствует дух синтеза. Благодаря этому духу он воспринимает себя как нечто, образующее неразрывное целое со всей страной. И именем этого духа он проклинает чисто аналитический, критический семитский ум. Но здесь нужно уточнение: с некоторых пор и правые, и левые, и традиционалисты, и социалисты то и дело взывают к принципам синтетичности, противопоставляя их духу анализа, руководившему закладкой буржуазной демократии. При этом, однако, правые и левые имеют в виду не одни и те же принципы, или, по крайней мере, они по-разному применяют эти принципы. Как же применяют их антисемиты? Антисемитизм мало распространен в рабочей среде. Так это потому, скажут мне, что там нет евреев. Объяснение абсурдное, ибо если бы это было правдой, то возмущались бы как раз тем, что их там нет. Нацисты это прекрасно понимали, потому что когда им понадобилось распространить воздействие своей пропаганды на пролетариат, они выбросили лозунг борьбы с "еврейским капитализмом". Вообще говоря, восприятие общества у пролетария синтетическое, он только не использует антисемитских методов. Он классифицирует людские сообщества не по паспортным данным, а по экономическим функциям. Буржуазия, крестьянство, пролетариат — вот те синтетические реальности, которыми он оперирует, а внутри этих тотальных групп он различает синтетические структуры второго порядка: рабочие союзы, союзы предпринимателей, тресты, картели, партии. Соответственно, объяснения, которые он дает историческим событиям, оказываются прекрасно согласованными с разветвленной структурой общества, основанного на разделении труда. И историю, в его понимании, создают игра экономических интересов и взаимодействие синтетических групп.

Но большинство антисемитов принадлежит к среднему классу, то есть к тем слоям, уровень жизни которых не ниже или выше уровня жизни евреев, или, если угодно, — к непроизводственной сфере: управленцы, снабженцы, торговцы, лица свободных профессий, получатели нетрудовых доходов. В самом деле, ведь наши буржуа ничего не производят, они управляют, администрируют, распределяют, торгуют; их функция — входить в непосредственные отношения с потребителем, то есть они существуют в постоянном контакте с людьми, в отличие от рабочих, которые в силу своей профессии постоянно

контактируют с вещами. И каждый смотрит на историю сквозь очки своей профессии. Сформированный ежедневной работой над материалом, рабочий видит в обществе результат работы реальных сил, действующих по непреложным законам. Этот его диалектический «материализм» означает, что социальный мир он воспринимает, в принципе, так же, как и материальный. Напротив, буржуа вообще, и антисемит в частности, предпочитает выводить исторический процесс из взаимодействия индивидуальных волевых устремлений. Тех самых устремлений — не правда ли? — от которых он зависит в своей профессии^[2]. По отношению к социальным явлениям они ведут себя как дикари, одушевляющие ветер и солнце. Интриги, коварство, злой умысел одних, решительность и добродетельность других, — на этом держится их фирма, на этом держится у них и мир. И буржуазный по существу феномен антисемитизма проявляется как раз в этом выборе способа объяснения коллективных явлений инициативой отдельных лиц,

Нет спору, случается, что антисемитские карикатуры «еврей» очень напоминают типичные для пролетарских газет и журналов карикатуры «буржуй», но это внешнее сходство не должно вводить в заблуждение. Для пролетария капиталиста определяет его положение, то есть некоторый комплекс внешних факторов, а сам капиталист сводится к синтетическому единству внешне узнаваемых проявлений, то есть определяющий комплекс связан с формами поведения. Для антисемита еврея определяет наличие в нем «еврейства», еврейской сути, — полная аналогия с флогистоном или со снотворным действием опиума. Отметим, во избежание ошибок: наследственные и расовые объяснения появились позже, они выполняют роль научных фиговых листков, прикрывающих убеждения дикарей. Предубеждение против евреев появилось задолго до Менделя и Гобино, и те, кто его испытывал, не могли объяснить этого иначе, чем Монтень — свою дружбу с Ла Боэси: «Потому что это он, и потому что это я». Устраните эту метафизику, и деятельность, которую приписывают евреям, станет абсолютно непостижимой. Действительно, как понять упорное безумие богатого еврейского купца, стремящегося, как нас уверяют, разорить страну, в которой он торгует: ведь если он в своем уме, он будет заботиться о ее процветании. А как понять этот злополучный интернационализм людей, у которых семьи, интересы, привычки, образ и источники существования должны быть связаны с судьбой одной конкретной страны? Мудролюбы толкуют нам о еврейском стремлении к мировому господству, однако без дополнительных разъяснений мы и тут рискуем не понять, в чем же проявляется это стремление. В самом деле, то нам говорят, что за спиной евреев стоит международный капитализм, империализм трестов и торговцев оружием, то большевизм с ножом в зубах, и при этом не затрудняются возлагать ответственность одновременно на еврейских банкиров — за коммунизм, который должен был бы внушать им ужас, и на нищих евреев с улицы Росьер — за империалистический капитализм. Но все сразу объяснится, если мы откажем еврею в разумном поведении, соответствующем его интересам, и более того, откроем для него метафизический принцип, по которому он должен творить зло при всех обстоятельствах, даже если при этом он уничтожает сам себя. Принцип, как вы понимаете, волшебный: с одной стороны, он устанавливает сущностное, субстанциональное свойство, и еврей, как бы он ни старался, не может его изменить, как огонь не может не гореть; с другой же стороны, поскольку нужно обеспечить возможность ненавидеть еврея — а как ненавидеть землетрясение или филлоксеру? — в этом свойстве есть и свобода. Правда, свобода, о которой тут идет речь, тщательно отдозирована: творить зло еврей свободен, творить добро — нет; он обладает свободой воли лишь настолько, чтобы он мог нести

полную ответственность за свои преступления, но не настолько, чтобы он мог исправиться. Странная свобода: вместо того, чтобы предшествовать сущности и конституировать сущность, она остается всецело ей покорной, тем самым превращаясь в некое иррациональное качество, — но все равно остается свободой. Мне известно только одно создание, которое так тотально свободно и так привержено злу, — это сам Дух Зла, это Сатана. Таким образом, еврей оказывается отождествимым с духом зла. Его воля, в противоположность кантовской, — это чистое, бескорыстное и всеобъемлющее желание зла, это сама злая воля. Вот в каком облике появляется зло на земле, и что бы ни случилось: кризисы, войны, голод, потрясения или восстания — во всех бедах общества прямо или косвенно должны быть виноваты евреи. Антисемит боится обнаружить, что мир плохо устроен: ведь тогда пришлось бы что-то придумывать, что-то менять — и человек еще один раз оказался бы хозяином своей судьбы, приняв на себя томительный, безмерный груз ответственности; поэтому антисемит и помещает все зло Вселенной в еврея. Если где-то две нации ведут войну, то причина этого не националистические идеи в их нынешней форме, порожденной империализмом или столкновением интересов, — нет, все дело в евреях, это они стоят за спиной правителей, нашептывают и вызывают раздоры. Если где-то разгорается классовая борьба, то причина не в организации экономики, вынудившей людей бороться, — все дело в еврейских вожаках: эти носатые агитаторы совращают рабочих. Таким образом, по происхождению, антисемитизм — род манихеизма,^[3] объясняющего мир борьбой принципов Добра и Зла. Никакой компромисс между двумя этими принципами невозможен: один должен восторжествовать, другой — исчезнуть. Возьмите Селина — вот пример апокалиптического видения мира: евреи везде, земля погибла, и арийцу остается только не компрометировать себя и ни в коем случае ничем не поступаться. Но пусть он учтет, что если он дышит, то уже потерял свою чистоту, потому что сам воздух, проникающий в его бронхи, осквернен. Разве это не похоже на проповедь катара? Если Селин и способен был поддержать социалистические идеи нацистов, то лишь потому, что ему заплатили, а в глубине души он в них не верил и единственным выходом считал коллективное самоубийство, не-рождение, смерть. Другие — Моррас, деятели Р.Р.Ф.^[4] — не столь мрачны: они провидят долгую, зачастую опасную борьбу с триумфом Добра в финале, — битву Ормузда с Ариманом. Читатель понимает, что антисемит отнюдь не обращается к манихеизму, чтобы использовать его в качестве вторичного принципа объяснения, — как раз исходный выбор манихеизма объясняет и обуславливает антисемитизм. Но тогда следует задаться вопросом, что может означать такой исходный выбор для человека сегодняшнего дня.

Задержимся немного на сопоставлении революционной идеи классовой борьбы и антисемитского манихеизма. Для марксиста классовая борьба никоим образом не является битвой Добра со Злом, — это столкновение интересов отдельных групп людей. Что заставляет революционера вставать на позиции пролетариата? Во-первых, это его класс, во-вторых, это класс угнетенных, далее, это наиболее многочисленный класс, следовательно, его судьба в перспективе сливается с судьбой человечества, и, наконец, последствия победы пролетариата с необходимостью приведут к упразднению классов. цель революционера — изменить организацию общества. Для этого, вне всякого сомнения, надо разрушить старый режим, но этого мало: очевидно, что надо прежде всего создать новый уклад. Если бы, сверх всяких ожиданий, привилегированный класс захотел участвовать в социалистическом строительстве и имелись бы очевидные доказательства его добросовестности, то не было бы

никакой разумной причины его отталкивать. И если его добровольное предложение сотрудничества остается в высшей степени маловероятным, то причина в том, что его удерживает само это привилегированное положение, а не какой-то там внутренний демонизм, заставляющий людей творить зло против их собственного желания. В любом случае, выходцы из этого класса, если они порывают с ним, всегда могут влиться в класс угнетенных, и судить о них следует по их делам, а не по их корням. "Чихать я хотел на ваши вековые корни", — сказал мне однажды Политцер.

Напротив, для антисемита-манихеиста акцент ставится на разрушении. Для него речь идет не о столкновении интересов, а о том вреде, который причиняет обществу некая злая сила. Соответственно, его Добро состоит прежде всего в том, чтобы разрушать Зло. Горечь антисемита маскирует оптимистическую веру в то, что как только Зло будет устранено, гармония установится сама собой. Поэтому программа антисемита однозначно негативна: не ставится задача построения нового общества — только очищения существующего. Для достижения этой цели добровольное участие евреев излишне и даже пагубно, к тому же еврей не может быть доброй воли. Как Кавалер Ордена Добра антисемит священен; еврей оказывается тоже по-своему священен — как неприкасаемый, как табуированный туземец. Таким образом борьба переносится в религиозную плоскость и концом сражения может быть только священная резня. У такой позиции много преимуществ, и прежде всего — то, что благословляется лень духа. Мы видели, что антисемит ничего не понимает в современном обществе, он был бы не способен предложить какой-либо конструктивный план, его деятельность не может перейти на уровень техники, она остается на почве страсти. Долготерпению труда он предпочитает взрыв бешенства, напоминающий амок ^[5] малайцев. Его интеллектуальная активность не выходит за рамки интерпретаций; он ищет в исторических событиях признаки проявления некой злой силы, — отсюда эти по-детски усложненные выдумки, родственные бреду тяжелых параноиков. Но кроме того, антисемитизм отводит разрушительный удар революционно настроенной массы от некоторых учреждений, направляя этот удар на уничтожение определенных людей: воспламененная антисемитизмом толпа считает, что сделано достаточно, если убито столько-то евреев и сожжено столько-то синагог. Антисемитизм, таким образом, представляет собой предохранительный клапан для власти имущих; поощряя антисемитизм, власти подменяют опасную ненависть к режиму правления на безопасную ненависть к отдельным людям. Ну, и конечно же, этот наивный дуализм чрезвычайно удобен для самого антисемита: если все дело только в уничтожении Зла, значит, все Добро уже есть. И значит, нет никакой необходимости беспокоиться о поисках Добра, не надо его творить, и отстаивать в терпеливых спорах, и, найдя, поверять опытом, и проверять на отдаленных последствиях, и, в конце концов, брать на себя всю ответственность за сделанный моральный выбор. Оптимизм, маскируемый бурной антисемитской яростью, не случаен: антисемит решил проблему Зла, чтобы не решать проблем Добра. Чем больше я поглощен борьбой со Злом, тем меньше я склонен ставить под сомнение имеющееся Добро. Об этом не говорят, но это всегда присутствует на заднем плане в рассуждениях антисемита и остается задней мыслью в его голове. Ему нужно только исполнить свою миссию священного разрушителя, и Потерянный Рай возродится сам собой. А в настоящий момент у антисемита столько забот, что у него просто нет времени обо всем этом размышлять: он на посту, он сражается, и любого повода к возмущению достаточно, чтобы отвлечь его от мучительных поисков Добра.

Но есть и еще одна сторона, и тут мы вторгаемся в область психоанализа. Манихеизм антисемита маскирует его глубинное влечение ко Злу. Для антисемита Зло — его удел, как для Иова. Добром если и будут заниматься, то другие, те, кто придет после. А он — он в сторожевом охранении общества, он повернут спиной к тем чистым добродетелям, которые он защищает, он имеет дело только со Злом, он должен определять его размеры, должен разоблачать и доносить. Поэтому он необычайно озабочен собиранием анекдотов, избличающих евреев — их похотливость, страсть к наживе, коварство и предательство. Антисемит купается в нечистотах. Перечитайте "Еврейскую Францию" Дрюмона, эта книга "высокой французской морали" — антология гнусностей и похабщины. Ничто не отражает так ясно сложную натуру антисемита, как то, что он не захотел сам выбрать себе Добро, и, боясь выделиться, позволил навязать себе клишированное Добро для массового употребления. Мораль антисемита никогда не бывает основана на интуитивном понимании ценностей или на том, что Платон назвал Любовью, — его мораль проявляется лишь в самых строгих табу, самых суровых и самых произвольных императивах. Зло — вот что привлекает его неустанное внимание, и тут у него появляется интуиция, и даже что-то похожее на вкус. И он способен до стадии навязчивой идеи повторять рассказы о непристойных и преступных поступках, — это его волнует и удовлетворяет его извращенные наклонности, причем тут он может насыщаться, не компрометируя себя, ведь все поступки он приписывает этим подлым евреям, на которых и обрушивает свое презрение. Я знал одного берлинского протестанта, у которого желание приняло форму возмущения. Вид женщины в купальнике приводил его в ярость, он старался находить повод для этой ярости и проводил время в бассейнах. Таков и антисемит. И у него одна из составляющих ненависти — глубинное сексуальное влечение к евреям. В нем прежде всего присутствует любопытство, устремленное ко Злу, но я полагаю несомненным, что в основе его лежит садизм. В самом деле, мы ничего не поймем в антисемитизме, если не вспомним, что евреи, на которых обрушиваются такие проклятия, совершенно безвредны, я бы даже сказал — безобидны. Это добавляет антисемитам хлопот: приходится рассказывать нам о таинственных еврейских обществах и страшных заговорах масонов. Но непосредственно сталкиваясь с евреем, как правило, видишь перед собой слабого человека, который так плохо подготовлен к встрече с насилием, что неспособен даже к самозащите. Эта индивидуальная слабость еврея, которая выдает его погромщикам связанным по рукам и ногам, отлично известна антисемиту и заранее доставляет ему наслаждение. И его ненависть к евреям нельзя сравнивать с ненавистью, скажем, итальянцев к австрийцам в 1830 году или французов к немцам в 1942-м. В этих последних случаях ненавидели угнетателей, людей сильных, жестких и жестоких, имевших оружие, деньги, власть и возможность причинить восставшим столько зла, сколько эти восставшие и мечтать не могли причинить им. В этих случаях ненависть вырастала не из садистических наклонностей. Но для антисемита Зло воплощается в безоружных и очень малоопасных людях, поэтому для него никогда не возникает тягостной необходимости проявлять героизм. Быть антисемитом — это развлечение. Можно бить и мучить евреев и ничего не бояться: самое большее — вспомнят о существовании законов Республики, но законы эти окажутся мягкими. Садистическое влечение антисемита к евреям столь сильно, что не так уж редко можно увидеть какого-нибудь оголтелого юдофоба в обществе приятелей-евреев. Разумеется, это те «исключительные» евреи, о которых он говорит: "Они не такие, как другие". В мастерской художника, о котором я уже упоминал, и который несколько не осуждал Люблинскую резню, на видном месте стоял портрет еврея, расстрелянного в гестапо; этот

человек был ему дорог. И все-таки их уверения в дружбе не искренни, ибо им даже к голове не придет избегать выражения типа "хороший еврей", и, с горячностью отстаивая наличие тех или иных достоинств у знакомых евреев, они не допускают мысли, что их собеседники могли встречать и других, столь же достойных. В силу своеобразной инверсии их садизма им в самом деле нравится протезировать этим несколькими избранным: им нравится постоянно иметь перед глазами живой образ народа, который они третируют. У женщин-антисемиток довольно часто смешиваются отвращение и сексуальное влечение к евреям. Я знал одну из таких, у нее были интимные отношения с неким польским евреем; она иногда ложилась с ним в постель и позволяла ласкать свои плечи и грудь — но не более. Она наслаждалась его почтительностью и покорностью, за которыми она угадывала отчаянное, подавленное и униженное желание. Впоследствии, с другими мужчинами у нее были нормальные половые контакты. Слова "красивая еврейка" имеют совершенно особое сексуальное значение, сильно отличающееся от того, какое имеют, например, слова "красивая румынка", "красивая гречанка" или "красивая американка", — и именно тем отличающееся, что в них словно бы появляется некий аромат насилия и убийства. Красивые еврейки — это женщины, которых царские казаки волочили за волосы по улицам горящих деревень; узкоспециальные труды, содержащие подробные описания избиений, отводят женщинам еврейского происхождения почетное место. Впрочем, нет необходимости рыться в секретной литературе. Со времен Ребекки в «Айвенго» до евреев у Понсон дю Террайля — и вплоть до наших дней еврейкам в самых серьезных романах отводилась строго определенная роль: часто подвергаться насилиям и избиениям, иногда избегать бесчестья, приняв заслуженную смерть, а тем, которые сохраняли сюжетную ценность, — становиться покорными служанками или униженными любовницами индифферентных христиан, женившихся на арийках. Я полагаю, для характеристики сексуальной символики фольклорного образа еврейки сказанного достаточно.

Разрушитель по предназначению, садист "по велению сердца", антисемит в глубине души всегда преступник. Ведь чего он, собственно, хочет? Смерти еврея. И он ее готовит.

Разумеется, не все враги евреев требуют их смерти в открытую, но те меры, которые они предлагают, — а все они направлены на то, чтобы принизить, унижить, изгнать евреев, — это суррогаты преступления, совершенного в воображении антисемита, это символические убийства. Но у антисемита есть свое внутреннее оправдание: он преступник из лучших побуждений. В конце концов, не его вина, что на него возложена миссия творить Зло во имя уменьшения Зла: истинная Франция вручила ему мандат верховного судьи. Конечно, не каждый день выпадает случай им воспользоваться, но на этот счет не следует заблуждаться: его неожиданные вспышки ярости, его громовые угрозы в адрес «жидов» — это те же самые смертные приговоры. Народное сознание это угадывает и обозначает так: готовы "manger du juif" — "сожрать еврея". Итак, антисемит сделал для себя выбор: он преступник, и именно — голубой преступник. Это вновь бегство от ответственности, он подвергает цензуре свою жажду убийства, но находит способ утолить ее, не признаваясь в ней себе. Он знает, что он злобен, но поскольку он творит Зло во имя Добра, и поскольку весь народ ждет от него освобождения, он считает, что его злоба священна. Вся система его ценностей оказывается своеобразно извращенной (нечто похожее встречается в некоторых религиях, например, в Индии, где существует священная проституция): с яростью, ненавистью, грабежом, убийством, со всеми формами насилия у антисемита связываются представления о престиже, уважении, энтузиазме, — и в тот самый момент, когда он опьянен злобой, на душе

у него легко и спокойно, и это обеспечивает ему неотягченную совесть и удовлетворение от сознания исполненного долга.

Портрет завершен. Возможно, многие из тех, кто с готовностью заявляет о своей ненависти к евреям, не узнают себя, это будет значить, что ненависти у них на самом деле нет. Нет у них и любви: они никогда не причинят евреям никакого зла, но никогда и пальцем не пошевелят, чтобы предотвратить погром. Они не антисемиты, они не личности, они — ничто, и если им все-таки приходится изображать нечто, они становятся эхом, становятся молвой; не думая о причиняемом зле, не думая ни о чем, они повторяют заученные формулы, открывающие перед ними двери определенных салонов. Таким путем они познают эту высокую радость — быть пустым звуком, иметь голову, целиком заполненную одним огромным одобрением, которое кажется им тем более достойным уважения, что взято ими в долг. Для таких людей антисемитизм — просто оправдание, но эти люди столь ничтожны, что легко отказываются от этого оправдания, соглашаясь на любое другое, лишь бы оно было «престижнее». Ибо антисемитизм престижен, как все проявления иррациональной коллективной души, стремящейся создать сокровенное и охранительное Отечество. И всем этим мягкоголовым кажется, что, торопливо повторяя "евреи губят страну", они совершают один из тех ритуальных обрядов, которыми оформляется пропуск в теплоэнергоцентр общества; в этом смысле антисемитизм сохраняет нечто от человеческого жертвоприношения. Кроме того, антисемитизм предоставляет серьезные выгоды людям, сознающим свою глубокую несостоятельность и пребывающим в тоске: он позволяет им надеть на себя личину страсти и, как это уже стало привычным со времен романтизма, спутать ее с собственной личностью, — таким образом эти вторичные антисемиты, почти не потратившись, обретают собственную агрессивную личность. Один мой друг часто вспоминал своего престарелого кузена, который иногда приходил к ним обедать и о котором с каким-то особенным выражением говорили: "Жюль терпеть не может англичан". Мой друг не помнил, чтобы о его кузене говорили еще что-нибудь другое, но другого уже и не требовалось. Между кузеном и семьей друга возник молчаливый договор: при кузене подчеркнуто избегали говорить об англичанах, эта церемонность дарила ему иллюзию его значимости в глазах ближних, а им — приятное чувство участников некоего ритуального действия. Ну, а при соответствующих обстоятельствах, кто-нибудь, тщательно все обдумав, ронял как бы невзначай какой-то намек на Великобританию — или ее доминионы. Кузен Жюль тут же исполнял приступ жуткого гнева и в эти мгновения чувствовал, что он существует; все бывали довольны. Многие в той же мере антисемиты, в какой кузен Жюль — англофоб и, разумеется, они совершенно не представляют себе, куда они на самом деле вступили.

Мнимые отражения сознательного юдофоба, тростинки, кланяющиеся ветру, они сами, конечно, никогда бы не выдумали антисемитизма, но именно они силой своего равнодушия сохраняют антисемитизм от исчезновения и возрождают его в новых поколениях.

Теперь мы в состоянии его понять. Антисемит — это человек, который боится. Нет, не евреев, конечно, — боится самого себя, боится своей совести и своих инстинктов, боится свободы и ответственности, боится одиночества и боится перемен, боится общества и боится мира, — он боится всего, и не боится только евреев. Это подлец, который не хочет признаться себе в своей подлости; это убийца, который сдерживает и маскирует свою склонность к убийству, не находя в себе сил справиться с ней, но в то же время дерзновенно предпочитает убийства символические и анонимные — в толпе. Он мучается

неудовлетворенностью, но не решается восстать на себя из страха перед последствиями своего восстания. Приобщаясь к антисемитизму, он не просто принимает некое мнение, — он совершает выбор, определяющий его будущую личность. Он выбирает постоянство и невосприимчивость камня. Он выбирает тотальную безответственность рядового, послушного своим вождям, — а вождей у него нет. Его выбор: ничего не зарабатывать и ничего не заслуживать, но чтобы ему все было дано от рождения, — а он не из благородных. Его выбор, наконец: Добро уже все — здесь; оно неоспоримо и недосягаемо, и он не смеет на него посмотреть, боясь, что тогда придется усомниться в нем и искать другое, еврей тут только повод, ничего больше: на его месте может быть негр, может быть цветной. Существование еврея просто дает антисемиту возможность подавить в зародыше свое беспокойство, убедив себя, что его место в мире всегда было помечено, и оно его ждало, и он теперь законно имеет право его занять. Антисемитизм, одним словом, — это страх человеческого состояния. Антисемит — это человек, который хочет быть непроницаемой скалой, неистовым потоком, испепеляющей молнией, всем чем угодно — только не человеком.

У еврея, впрочем, есть друг, а именно — демократ, но защитник из него плохой. Да, разумеется, он провозглашает равноправие всех людей и, разумеется, именно он учредил Союз защиты прав человека, но сами его декларации обнажают слабость его позиции. В XVIII веке он раз и навсегда выбрал аналитический метод и не замечает той синтетической конкретики, которую предлагает ему история. Для него не существует ни еврея, ни араба, ни негра, ни рабочего, ни капиталиста — но лишь человек, в любое время и в любом месте равный самому себе. Все соединения он расщепляет на отдельные элементы. Биологический организм для него — сумма молекул, социальный организм — сумма индивидуумов. А индивидуум, в его понимании, это уникальное воплощение универсальных черт, составляющих человеческую природу. Таким образом, антисемит и демократ неумоимо ведут свой диалог, не сознавая и даже не замечая, что они говорят о разных вещах. Допустим, антисемит упрекает евреев в скупости. Демократ отвечает, что он знает скупых христиан и не скупых евреев. Но антисемита это не убеждает, ведь он хотел сказать, что существует особая (еврейская) скупость, то есть такая, на которую повлияла эта синтетическая тотальность: личность еврея. И он с легкостью соглашается, что какие-то христиане могут быть скупыми, потому что для него христианская скупость и «еврейская» скупость — не одной природы. Для демократа же, напротив, природа скупости универсальна и инвариантна: скупость может присоединяться к комплексу черт, образующему характер индивидуума, сохраняя свою идентичность при всех обстоятельствах; не существует двух способов быть скупым: или ты скряга, или нет. Тем самым демократ, как и ученый, упускает единичное: индивидуум для него — лишь сумма универсальных черт. Отсюда следует, что его защита спасает еврея как человека, уничтожая его как еврея. В отличие от антисемита, демократ не боится самого себя, — опасение ему внушают как раз крупные коллективные образования, в которых он рискует раствориться. И его выбор аналитического метода объясняется тем, что аналитический метод просто не замечает всех этих синтетических реальностей. В связи с этим он боится, как бы у евреев не проснулось "еврейское самосознание", то есть самосознание еврейского сообщества, — точно так же, как он опасается пробуждения у рабочих "классового самосознания". Его защита — это попытка убедить индивидуумов в том, что они существуют изолированно. Евреев нет, говорит он, следовательно, еврейского вопроса не существует. Это значит, что демократ хочет отделить еврея от его религии, от его семьи, от его этнического сообщества и поместить его в демократическую реторту, откуда он выйдет обновленным, одиноким и голым — ни с чем не связанным отдельным зернышком, неотличимым от всех прочих зернышек. Это то, что в Соединенных Штатах называли политикой ассимиляции. Иммиграционное законодательство запротоколировало провал этой политики и, в целом, "ассимиляционной идеи" демократов. Да и как могло быть иначе? — для еврея, который осознает свою этническую принадлежность, не стесняется ее и готов ее отстаивать — не забывая при этом о том, что его связывает с народом страны, где он живет — нет такой уж большой разницы между антисемитом и демократом. Один хочет уничтожить его как человека, чтобы остался только еврей, пария, неприкасаемый, а другой хочет уничтожить его как еврея, сохранив только человека в качестве абстрактного и универсального субъекта прав человека и гражданина. И даже в самом либеральном демократе обнаруживаются антисемитские

черточки: он становится враждебен еврею в той мере, в какой еврею вздумается ощутить себя евреем. Эта враждебность выражается в своеобразной снисходительно подтрунивающей иронии, когда, например, о друге-еврее, наделенном характерной, типической внешностью, говорят "он все-таки слишком еврей", или когда заявляют "единственный недостаток, который я нахожу у евреев, это их стадный инстинкт: когда берешь в дело одного, он приводит с собой десять других". Во время оккупации демократ был всерьез и глубоко оскорблен преследованием евреев, но время от времени вздыхал: "Евреи выйдут из лагерей такими дерзкими и с такой жаждой мести, что я опасаюсь рецидивов антисемитизма". На самом же деле он опасался, что преследования приведут только к росту самосознания евреев.

Антисемит попрекает еврея тем, что он — еврей, демократ склонен упрекать еврея в том, что он чувствует себя евреем. Находиться между противником и защитником обычно не слишком приятно; кажется, единственное, что остается еврею, это выбрать подливку, с которой его съедят. В свою очередь, нам тоже следует поставить вопрос, существует ли еврей. А если существует, то кто это такой? Прежде всего еврей или прежде всего человек? В чем должно состоять решение проблемы, в истреблении всех евреев или в их полной ассимиляции? Или, может быть, нужно поставить вопрос иначе и иначе его решать?

В одном мы согласны с антисемитом: мы не верим в существование человеческой «природы», мы не принимаем изображения общества в виде суммы молекул, которые изолированы — или могут быть изолированы друг от друга, мы считаем, что к исследованию явлений биологии, психики и социума подход должен быть синтетическим. Но мы расходимся с антисемитом в том, что касается способов применения этого синтетического подхода. Мы не знаем никаких особых еврейских «принципов» и мы не манихеисты; равным образом, мы не согласны с тем, что «настоящему» французу не составляет труда воспользоваться опытом и традициями, которые передались ему от предков, мы по-прежнему весьма скептически относимся к вариациям на тему психологической наследственности и допускаем использование этнических концепций лишь в тех областях, где они получили экспериментальное подтверждение, то есть в биологии и в патологии; мы определяем человека прежде всего как существо «ситуационное». Это означает, что человек и та ситуация, в которой он существует, образуют синтетическое единство — в биологическом, экономическом, политическом, культурном и иных отношениях. Человека нельзя отделить от его ситуации, потому что она его формирует и определяет его возможности, но и наоборот, человек определяет смысл ситуации своим выбором себя в ней и через нее. Находиться в некоторой ситуации, в нашем понимании, значит выбирать себя в этой ситуации; люди различаются между собой соответственно различию их ситуаций, а также в зависимости от того выбора, который они совершают в отношении собственной персоны. То общее, что их всех объединяет, — отнюдь не их «природа», но — условия существования, то есть комплекс ограничений и связей: необходимость умереть, необходимость работать, чтобы жить, необходимость существовать в мире, уже заселенном другими людьми. Эти-то условия существования и составляют, в сущности, фундаментальную человеческую ситуацию или, если угодно, комплекс отвлеченных признаков, общих для всех ситуаций. Я соглашаюсь, таким образом, с демократом в том, что еврей — такой же человек, как все прочие, но что конкретно я при этом узнаю? — только то, что он свободен, что он в то же время раб, что он рождается, наслаждается, страдает и умирает, что он любит и ненавидит, как все остальные люди. Ничего другого я не могу извлечь из этой слишком общей посылки. Но если я хочу узнать, что есть еврей, то поскольку он существо ситуационное, рассказать о нем мне должна прежде всего его ситуация. Предупреждаю, что я ограничусь в моем описании только евреями Франции, поскольку наша проблема — это положение французских евреев.

Я не стану отрицать, что еврейская раса существует. Но давайте вначале договоримся о значении слов, чтобы понимать друг друга. Если словом «раса» обозначить тот не поддающийся определению конгломерат, в котором соматические признаки перемешаны с интеллектуальными и моральными характеристиками, то мне останется только верить в столоверчение. То, что я, за неимением лучшего, буду называть этническими особенностями, — это определенные наследственные физические черты, встречающиеся чаще у евреев, чем у не-евреев. Нам надо будет к тому же проявлять осмотрительность: ведь правильнее было бы говорить о семье еврейских народностей. Как известно, не все семиты — евреи, и это осложняет вопрос; известно также, что русские светловолосые евреи отстоят от курчавых алжирских дальше, чем от восточно-прусских арийцев. Действительно, в

каждой стране живут свои евреи, и наши представления о них не обязательно соответствуют представлениям соседей. Я и двое моих французских друзей жили в Берлине в первое время после прихода нацистов к власти; один из моих друзей был еврей, другой — нет. Еврей принадлежал к "выраженному семитскому типу", у него был горбатый нос, торчащие уши, толстые губы. Любой француз без колебаний определил бы его национальность. Но он был флегматичный сухопарый блондин — и немцы его не замечали. Он иногда развлекался, посещая компании эсесовцев, у них не возникло сомнений в чистоте его расы; один из них как-то сказал ему: "Я чувствую еврея за сто метров". Второй мой друг был корсиканец и католик — и сын, и внук католика, у него были черные чуть вьющиеся волосы, бурбонский нос и бледная кожа, он был маленький и тучный. На улице дети швыряли ему в спину камни и кричали «юде»: он оказался внешне близок к определенному восточному семитскому типу, соответствовавшему наиболее распространенному среди немцев представлению о еврее. Как бы там ни было, даже если мы принимаем, что все евреи наделены некими общими для них физическими чертами, то это отнюдь не значит, что у них должны проявляться и одинаковые черты характера — подобные аналогии совершенно бессодержательны. Более того, физические черты, которые можно определить как семитские, — это образования пространственные, следовательно, допускающие их объединение и разделение. Выделив одну из этих черт, я моментально обнаружу ее у какого-нибудь арийца. Должен ли я из этого заключить, что данный ариец также наделен теми психическими качествами, которые обычно приписывают евреям? Очевидно, нет. Но тогда разваливается вся расовая теория, ведь в ней предполагается, что еврей — это некая неразделимая целостность, а он оказывается мозаикой, каждый элемент которой можно, как камешек, взять и поместить в другой набор; таким образом, мы не можем ни выводить моральное из физического, ни постулировать психофизиологический параллелизм. Если мне скажут, что нужно рассматривать ансамбль соматических признаков, я отвечу: либо этот ансамбль есть сумма этнических черт и, в качестве суммы, никак не может представлять собой пространственного эквивалента психического синтеза — как сочетание мозговых клеток не может соответствовать мысли, — либо, когда говорят о еврее в физическом плане, имеют в виду некую синкретическую тотальность, воспринимаемую интуитивно. В этом случае, действительно, можно было бы говорить о "Gestalt"^[6] в том смысле, в каком это слово понимал Келер — и именно на это претендуют антисемиты, когда заявляют, что у них «чутье» на евреев, что они их «чувствуют» и т. п., но дело в том, что воспринимать соматические черты отдельно от того психического значения, которое с ними связывается, невозможно. Вот на улице Росьер на крылечке у своей двери сидит еврей. Я сразу узнаю в нем еврея: у него черная курчавая борода, слегка горбатый нос, оттопыренные уши, очки в железной оправе, круглая шляпа, надвинутая почти на глаза, черная одежда, быстрые, нервные движения, странно добрая страдальческая улыбка. Как отделить физическое от морального? Борода у него черная, волос вьется — это соматический признак. Однако мое внимание более всего привлекает то, что он ее отпускает; ведь этим он заявляет о своей приверженности традициям еврейского сообщества, объявляет, что приехал из Польши и что он — эмигрант в первом поколении; но разве его гладковыбритый сын в меньшей степени еврей? Есть черты чисто анатомические, например: форма носа, торчащие уши; есть чисто психические и социальные: выбор одежды и очков, выражение чувств, мимика. И на национальность этого человека мне указывает как раз тот неразложимый ансамбль, в котором взаимопроникнуты психическое, физическое, социальное, религиозное и

индивидуальное, — тот живой синтез, который очевидно не мог быть передан по наследству и который, в сущности, идентичен всей его личности в целом. Мы, таким образом, рассматриваем соматическую, наследственную характерность еврея как один из факторов его ситуации, а не как определяющее его природу условие. За отсутствием расового определения еврея, может быть определим его религией или строго национальным сообществом израэлитов? Здесь возникают осложнения. Безусловно, в отдаленные времена существовало религиозное и национальное сообщество, называвшееся Израилем. Но история этого сообщества — это история его рассеивания на протяжении двадцати пяти веков. Вначале оно утратило свою независимость, поработанное Вавилоном, потом попало под персидское владычество и, наконец, было захвачено римлянами. Не нужно усматривать в этом последствия какого-то проклятия, если, конечно, не считать, что существуют проклятия географические; ситуация Палестины определялась ее расположением и окружением: она располагалась на перекрестке всех античных торговых путей и она была сжата в тисках могучих империй, — это вполне объясняет ее постепенное уничтожение. В то же время религиозные связи евреев диаспоры и оставшихся на родине окрепли, ибо приобрели смысл и значение связей национальных. Однако нетрудно заметить что такой «перевод» есть явный признак одухотворения коллективных связей, а одухотворение связей, что там ни говори, означает их ослабление. К тому же вскоре произошел раскол, связанный с зарождением христианства: появление этой новой религии вызвало грандиозный кризис в среде израэлитов, восстановив евреев-эмигрантов против оставшихся в Иудее. Перед лицом такой "сильной формы", какой сразу же стало христианство, иудейская религия тут же обнаружила себя как форма слабая, движущаяся к распаду; самосохранение требовало от нее сложной политики, совмещавшей упорство с уступками. Религия противостояла преследованиям и великому рассеянию евреев в средневековом мире; в значительно меньшей степени она противостояла распространению просвещения и критического духа. Евреев, живущих среди нас, связывает с иудаизмом лишь обрядность и вежливость. Я спросил одного из них, зачем он обрезал сына. Он мне ответил: "Потому что это успокоило мою мать, а кроме того, так приличнее". — "А вашей матери почему это так важно?" — "Из-за друзей и соседей". За столь рациональными объяснениями, я полагаю, кроется глухая, глубинная/Потребность примкнуть к традиции и, раз уж нет истории нации, укрепиться корнями в истории обрядов и обычаев. И уж совершенно точно, что религия здесь — не более чем символическое средство. Противостоять одновременному наступлению рационализма и христианского духа эта религия не могла — по крайней мере, в Восточной Европе; евреи-атеисты, которых я расспрашивал, признавались мне, что свой диспут о Боге они ведут с христианской религией. Религия, на которую они нападают и от которой хотят избавиться, — это христианство; их атеизм ничем не отличается от атеизма Роже Мартен дю Гара, который, по его словам, отмывался от католической веры. Они ни одной минуты не были атеистами, борющимися с талмудом, и священник для них всех — кюре, а не раввин.

Итак, отправная точка рассуждений представляется следующей: конкретное историческое сообщество есть сообщество, в первую очередь, национальное или религиозное; в то же время, сообщество евреев, которое было и национальным, и религиозным, постепенно утратило свои конкретные черты. Условимся в дальнейшем называть его абстрактным историческим сообществом. Рассеяние повлекло за собой распад общинных традиций, и мы выше уже отметили, что двадцать веков рассеяния и политического бессилия лишили это сообщество его исторического прошлого. Если верны

слова Гегеля о том, что всякое общество исторично в той мере, в какой оно сохраняет свою историческую память, то еврейское общество наименее исторично из всех, ибо хранит лишь память о долгих временах страданий, иначе говоря, память длительной пассивности.

Как же сохраняется в еврейском сообществе эта видимость единства? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вернуться к идее ситуации. Ни историческое прошлое, ни религия, ни земля общая не объединяют детей Израилевых. Но если все они удостоены называться евреями, значит, есть нечто общее, что всех их связывает, — это общая для всех евреев ситуация, то есть именно то, что они живут в обществе, которое считает их евреями. Одним словом, евреи прекрасно могут быть ассимилированы современными нациями, но они, по самоопределению, — те, кого нации не хотят ассимилировать. Исходной точкой послужило обвинение в убийстве Христа.^[7] Задумывался ли кто-нибудь о невыносимой ситуации людей, осужденных жить в обществе, обожающем бога, которого они убили? Таким образом, для примитивного сознания, евреи — убийцы или дети убийц (а для членов сообщества с дологической формой понимания ответственности это абсолютно одно и то же), то есть почти что табуированная каста. Ну, современный антисемитизм объясняется, очевидно, не этим, но истоки того, что антисемит выбирает в качестве объекта ненависти еврея, — в религиозном отвращении, вечно сопутствовавшем евреям. Это отвращение привело к любопытным экономическим последствиям. Средневековая церковь, которая могла организовать насильственную ассимиляцию евреев или их истребление, проявляла терпимость только потому, что евреи выполняли определенную экономическую функцию, без которой нельзя было обойтись; проклятые, они занимались проклятым, но необходимым делом: не имея возможности ни владеть землей, ни служить в армии, они торговали и оборачивали деньги — для христиан это было постыдно. Таким образом, изначальное проклятие вскоре дополнилось проклятием экономическим, и вот это-то последнее, главным образом, и сохранилось. Сегодня евреев любят обвинять в том, что они не работают в сфере материального производства, при этом нимало не стремятся понять, что их кажущаяся автономность внутри нации выросла из того, что их с самого начала заключили в рамки строго определенных профессий. Поэтому не будет преувеличением сказать, что именно христианство создало евреев, спровоцировав резкое замедление их ассимиляции и навязав им против их воли те функции, в исполнении которых они впоследствии преуспели. Но это мы опять углубились в историю: сегодня дифференциация экономических функций такова, что уже невозможно предписывать евреям те или иные виды деятельности; здесь можно лишь отметить, что долговременное отторжение евреев от определенных профессий уже убило желание заниматься ими к тому времени, когда появились такие возможности. Однако в современных обществах любят выдержки из истории и с удобством используют их для обоснования и оправдания антисемитизма. Итак, если вы хотите понять, что такое современные евреи, то вопрос надо обращать к христианской совести, — и звучать он будет не "что такое евреи?", а "что вы сделали с евреями?».

Еврей — это тот человек, которого другие люди считают евреем, — вот простая истина, из которой надо исходить. В этом смысле в споре с антисемитом демократ прав: именно антисемит создает еврея. Но сводить всю ту подозрительность, и то любопытство, и ту замаскированную враждебность, которые окружают еврея, к бредовым манифестам кучки одержимых будет ошибкой. Ведь мы разглядели за гримасами антисемитизма безглазое, несформировавшееся лицо того примитивного общества, которое в латентном состоянии продолжает существовать в сообществе легальном. Не следует думать, что для устранения

антисемитизма достаточно благородного порыва, нескольких добрых слов или ученого трактата, — это все равно как если бы кто-нибудь вообразил, что он устранил войну, поскольку описал в книге ее последствия. Вне всякого сомнения, еврей по достоинству ценит выражаемые ему симпатии, но при всем том он не может не видеть, что антисемитизм — сохраняющаяся структура того сообщества, в котором он живет. Кроме того, он знает, что и демократы, и все те, кто его защищают, склонны проявлять снисходительность к антисемитизму. Во-первых, у нас, что ни говори, республика и свобода мнений, а во-вторых, миф о Священном Союзе все еще оказывает на французов такое влияние, что они готовы на любые компромиссы, лишь бы избежать внутренних конфронтации — особенно в периоды межнациональных кризисов, совпадающих, разумеется, с периодами максимальной вирулентности антисемизма. Само собой понятно, что на все эти компромиссы идет наивный и преисполненный доброй воли демократ: антисемит не идет ни на какие. На стороне антисемита преимущество разъяренного: о нем говорят "не надо его раздражать" и при его появлении понижают голос. Вот пример: в 1940 году немало французов собралось вокруг правительства Петэна, которое не уставало призывать к единению, лелея при этом известные задние мысли. Впоследствии это правительство осуществляло антисемитские акции. «Петэриоты» не протестовали. Им было очень неловко, но — что же делать? Коли кого-то приносят в жертву, чтобы этой ценой выкупить Францию, — разве такая цель не оправдание стыдливо отведенных глаз? Они определенно не были антисемитами и даже, встречая евреев, разговаривали с ними в высшей степени вежливо и сочувственно. Но как же еврей-то не чувствовали, что ими жертвуют в погоне за миражем единой и патриархальной Франции, как это могло быть? Сегодня те из них, кого не угнали и не убили немцы, наконец, возвращаются домой. Многие с первого дня были в Сопротивлении, у других сыновья или родственники служили в армии Леклерка. Вся Франция ликует, незнакомые люди обнимаются на улицах, забыв, кажется, на время о всякой социальной борьбе, газеты отводят первые полосы рассказам военнопленных и депортированных. Что ж, сказали и о евреях? Приветствовали возвращение тех, кому удалось спастись, почтили память погибших в газовых камерах Люблина? Ни слова. Ни строчки газетной. Потому что нельзя раздражать антисемитов. Больше, чем когда-либо, Франция нуждается в единстве. Благонамереннейшие журналисты убеждают вас: "Не нужно сейчас слишком много говорить о евреях, это в их же интересах". Французское общество жило без них четыре года, и не следует чрезмерно афишировать их возвращение. Неужели вы думаете, что еврей не понимает сложившейся ситуации? Неужели вы думаете, что они не понимают причины этого молчания? Среди них есть и те, кто с этим согласен, кто говорит: "Чем меньше о нас будут заботиться, тем лучше". Способен ли француз, уверенный в себе, в своей религии и в своей расе, понять то состояние души, которое рождает такие мысли? Не ясно ли, что нужно годами в своей собственной стране чувствовать враждебность, и вечно шипящее недоброжелательство, и всегда готовое кисло сморщиться безразличие, — чтобы прийти к этой смиренной мудрости, к этой политике самоустранения. Их возвращение, таким образом, было тайным, и их радость освобождения не соединилась с радостью нации. Одной маленькой детали будет достаточно, чтобы показать, как это было мучительно. В "Леттр франсез" я, не акцентируя, просто для полноты перечисления написал какую-то фразу о мучениях, выпавших на долю военнопленных, насильно угнанных, политзаключенных и евреев, — так вот, еврей трогательнейшим образом благодарил меня! Какими же покинутыми надо себя чувствовать, чтобы появилось желание поблагодарить

автора только за то, что он написал в статье слово "еврей".

Таким образом, еврей оказывается в ситуации еврея, потому, что живет в сообществе, которое считает его евреем. У него здесь страстные враги и бесстрастные защитники. Демократ гордится своей сдержанностью, он порицает и читает нотации, а в это время жгут синагоги. Терпимость — профессия демократа, он в ней доходит до снобизма, она распространяется у него даже на врагов демократии: разве не было модным в среде левых радикалов находить проблески гениальности у Морраса? Как же демократу не понять антисемита? Демократа словно гипнотизируют те, кто замышляет его гибель. А потом, быть может, и у него на дне души таится что-то вроде сожаления о несовершенном насилии, которое он себе запретил. И главное, борьба идет не на равных: для того, чтобы вложить хоть сколько-нибудь страсти в защиту еврея, демократу тоже пришлось бы стать манихеистом и бороться во имя Принципа Добра. Но как это возможно? — демократ же не сумасшедший. Он стал адвокатом еврея, потому что видит в нем сына человечества, но у человечества есть и другие дети, которые тоже нуждаются в защите, поэтому у демократа много работы, и евреем он занимается когда у него выдается свободное время, а у антисемита только один враг, он может посвятить ему все свое время — и тон задает он. Энергично атакуемый и слабо защищаемый в обществе, где антисемитизм остается постоянным соблазном, еврей чувствует себя в опасности. Именно это ощущение требует наиболее тщательного исследования.

Французские евреи по своему социальному положению, в основном, принадлежат к мелкой — или крупной буржуазии. Профессии большинства из них я назвал бы «реноменальными» — в том смысле, что успех в этих профессиях зависит не от вашего умения работать с материалом, а от вашего реноме, от мнений, которые имеют о вас другие люди. Чтобы к адвокату или портному пошла клиентура, они должны понравиться. Из этого следует, что профессии, о которых мы говорим, полны церемоний: приходится обольщать, и удерживать, и снискивать доверие: эти церемонии, эти тысячи маленьких танцев, необходимых для привлечения клиентов, требуют строгости в одежде, внешне безупречного поведения, вообще — почтенности. Таким образом, превыше всего здесь репутация: вы ее создаете себе и ею живете; это значит, что вы, по существу, находитесь в полной зависимости от других людей, в то время как крестьянин прежде всего имеет дело с землей, а рабочий с материалом и инструментом. Однако ситуация еврея парадоксальна: он может, так же, как и все, и теми же способами заслужить репутацию честного человека, но эта заслуженная репутация будет добавляться к репутации изначальной, которая ему дана раз и навсегда и которая определяется тем, что он — еврей. В шахте у вагонетки или в литейном цехе еврей-рабочий забывает, что он еврей; еврею-коммерсанту этого забыть не позволят. Он может совершить массу бескорыстных и честных поступков, и его, быть может, назовут хорошим евреем, но все равно он — еврей, евреем и останется. Когда его называют честным или нечестным, он, по крайней мере, знает, о чем идет речь, ведь он помнит поступки, которыми заслужил это отношение. Все совсем не так, когда его называют евреем; в самом деле, тут речь идет не о каком-то конкретном статусе, а об определенной манере, характеризующей все его по ведение. Ему твердят, что еврей и думает как еврей, и спит, и пьет, и ест как еврей, он и честен и нечестен по-еврейски. А ведь сколько он ни копается в себе, в своих поступках, он этой манеры не обнаруживает. Осознаем ли мы стиль своей жизни? Поистине, мы слишком привязаны к самим себе, чтобы смотреть на себя глазами беспристрастного свидетеля. И тем не менее, это маленькое словечко «еврей» в один

прекрасный день входит в жизнь человека и больше уже не покидает его. Некоторые дети уже с первого класса бросаются в драку, когда их в школе обзывают «жидами», других долго держат в неведении относительно их расы. Одна девочка из знакомой мне еврейской семьи до пятнадцати лет даже не знала, что значит слово «еврей». Во время оккупации доктор-еврей, живший в Фонтенбло, не выпускал своих внуков из дому и ни слова не говорил им об их национальности. Но так или иначе, когда-то дети все равно узнают правду: одним открывают глаза улыбки окружающих, другим — слухи или оскорбления. И чем позже они совершают это открытие, тем сильнее потрясение: вдруг они замечают, что другие знают про них что-то им неизвестное и что к ним относится этот смущающий и подозрительный эпитет, который в их семье не употребляется. Они вдруг замечают, что они отделены, отстранены от общества нормальных детей, которые чувствуют себя в безопасности, беззаботно бегают и играют вокруг них и не имеют специального названия. Ребенок приходит домой, смотрит на отца и думает: "А он тоже еврей?" — и его чувство к отцу отравлено. Стоит ли удивляться тому, что след этого первого разоблачения остается в душе ребенка на всю жизнь? Уже сто раз описаны пагубные последствия внезапного открытия ребенком факта сексуальных отношений родителей — как же может не вызвать аналогичных последствий открытие маленького еврея, который украдкой разглядывает своих родителей и думает: "Они еврей".

В то же время, дома ему говорят, что он должен гордиться тем, что он еврей. И ребенок уже не знает, кому верить; унижение, тоска, гордость разрывают ему душу. Он чувствует, что он отделён от остальных, но уже не понимает, кто его отделил, и знает только одно: что бы он ни делал, в глазах окружающих отныне и навсегда он — еврей. Немецкое правительство заставляло евреев носить желтую звезду, — гнусность, справедливо вызывавшая возмущение. Невыносимым было, очевидно, то, что на еврея указывали окружающим, что его постоянно принуждали чувствовать себя евреем, на которого все смотрят. Возмущение заставляло людей всеми силами выражать свое участие, свою симпатию несчастным, отмеченным этим клеймом. Однако, движимые лучшими побуждениями, некоторые из сочувствующих столь подчеркнуто кланялись при встречах с евреями, что, по собственным признаниям последних, приветствия эти были для них очень тяжелы. Они постоянно ловили на себе взгляды, горящие участием и поддержкой, и чувствовали, как под этими взглядами превращаются в объекты. Объекты сочувствия, и жалости, и чего угодно еще, но — объекты. Для тех достойных либералов они были поводом для благородного жеста, для демонстрации, — поводом и не более того; либералы были свободны, совершенно свободны в отношении евреев, и жать ли им руки или плевать в лицо, они решали соответственно своей морали и своему выбору самих себя. А евреи не выбирали, быть им евреями или нет, и потому духовно наиболее сильные из них даже предпочитали ненависть жалости: ненависть — страсть, и она кажется менее свободной в сравнении с вечно снисходительной жалостью. Все это было нам так понятно, что в конце концов, встречая на улицах евреев со звездой, мы уже отводили глаза. Нам было неловко, стыдно смотреть на них, ведь каждый наш взгляд, помимо их и нашего желания, выделял их как евреев, и высшим проявлением симпатии и дружбы было — пройти, не заметив, потому что при всех наших стараниях адресоваться к личности, нашим объектом неизменно оказывался еврей. Можно ли не замечать, что это нацистское предписание — всего лишь предельное выражение тех отношений, к которым мы давно уже притерпелись? Конечно, до заключения перемирия евреи не носили звезд, но их фамилии, лица, жесты и тысячи иных признаков определяли их как евреев. Идя по улице,

входя в кафе, в магазин или в гостиную, каждый еврей знал, что несет на себе это клеймо. Если кто-нибудь обращался к нему очень по-дружески и очень весело, он уже знал, что становится объектом, на котором сейчас будут демонстрировать терпимость, что собеседник избрал его как повод объявить миру, сказать самому себе: вот, у меня широкие взгляды, я не антисемит, для меня важен сам человек, а не его раса. В то же время, и еврей в глубине души оценивает себя примерно так, как его оценивают другие: он говорит на их языке, у него те же классовые — и те же национальные интересы, он читает те же газеты и так же голосует, он понимает их мнения и он разделяет их. Но ему дают понять, что все это не так: и говорит он "как еврей", и читает, и голосует, а если он требует объяснений, ему рисуют портрет, в котором он себя не узнаёт. И все же это его портрет, и невозможно в этом сомневаться, когда миллионы людей согласны, что он — такой. Что он может сделать? Мы скоро увидим, что постоянное беспокойство еврея коренится именно в этой навязанной ему необходимости бесконечно допрашивать себя, чтобы в конце концов слиться с преследующим его по пятам чуждо-знакомым, неосязаемо-близким, призрачным персонажем, который есть не кто иной, как он сам, — такой, каким его видят другие. Мне скажут, что это справедливо для всех, что у каждого из нас есть свой характер, хорошо известный нашим близким и незаметный для нас самих. Это не вызывает сомнений и, в сущности, есть не что иное, как выражение нашей фундаментальной связи с Другим. У еврея, как у любого из нас, тоже есть свой характер, но кроме этого, он еще еврей. Можно сказать, что, в определенном смысле, фундаментальная связь с другими у него двойная, — он детерминирован избыточно, он переопределен. Ситуация кажется ему еще более непостижимой из-за того, что он пользуется всеми правами члена общества, в котором живет — во всяком случае, до тех пор, пока общество сохраняет равновесие. Во времена кризисов и преследований на его долю выпадает в сто раз больше несчастий, но он, по крайней мере, может восстать и, с оружием в руках борясь против угнетателей и отвергая проклятую, навязанную ему роль еврея, может обрести свободу, — диалектика этого обретения аналогична описанной Гегелем в работе "Хозяин и раб". Но против кого восставать, когда все спокойно? Еврей, конечно, принимает то сообщество, которое его окружает: он тоже хочет играть в этом театре, и он исполняет все положенные па и, как все, танцует партию достойного налогоплательщика, — впрочем, он ведь никому не раб, а свободный гражданин, живущий при правительстве, разрешившем свободную конкуренцию, и никакие государственные поприща, никакие общественные высоты для него не закрыты: получай орден Почетного легиона, становись великим адвокатом, министром. Но стоит ему соприкоснуться на деле с нашим правовым обществом, и мгновенно спадает пелена, и он обнаруживает, что существует другое — аморфное, расплывчатое, но всепроникающее общество, которое ему ничего не позволяет. Он очень остро чувствует тщету любых почестей и удач: никакой самый грандиозный успех не позволяет ему войти в это общество, почитающее себя истинным, и если он будет министр, то он будет министр-еврей, — отличие и печать неприкасаемого одновременно. И хотя никакого особенного сопротивления он не встречает, но все вокруг него словно бы разбегается, и возникает некая неосязаемая пустота, а потом — это главное — начинается какая-то невидимая химическая реакция, и все, к чему он прикасался, обесценивается. В самом деле, постоянная людская конвекция в буржуазном обществе, его коллективные течения, обычаи и моды рождают шкалу ценностей. Причем, ценности объектов — поэм, мебели, домов, пейзажей — в значительной степени самопроизвольно конденсируются на них наподобие некой легкой росы; ценности эти сугубо национальны и являются

результатом нормального развития любого исторического традиционалистского сообщества. Француз — это не только человек, который родился во Франции, голосует и платит налог; в первую очередь, это человек, который понимает французские ценности и умеет ими пользоваться. И поскольку он участвует в их создании, он, в определенном смысле, спокоен за себя: его существование оправдано этим своеобразным единением с сообществом; способность оценить мебель эпохи Людовика XVI, изящество фразы Шамфора, картину Клода Лоррена или пейзаж Иль-де-Франс, позволяя ощутить и вновь подтверждая принадлежность к французскому обществу, возобновляет молчаливый общественный договор со всеми его членами. И сразу исчезает неопределенная случайность отдельного существования, уступая место необходимости существования по праву. Каждый француз, испытывающий волнение при чтении стихов Вийона или при виде дворцов Версаля, превращается в общественную функцию и становится субъектом неотъемлемого права. Еврея же объявляют человеком, которому эти ценности принципиально недоступны. Несомненно, в таком же положении оказывается и рабочий, но у него ситуация иная: он может с презрением отвергнуть ценности буржуазной культуры и надеяться заменить их своими собственными. Напротив, еврей принадлежит, в принципе, именно к тому социальному классу, который его отвергает; он разделяет вкусы этих людей и их образ жизни, он прикасается ко всем этим ценностям, но он их "не видит", они должны были бы принадлежать и ему тоже, но ему отказывают в них, ему говорят, что он слепой. Разумеется, это не так, — или кто-нибудь полагает, что Блок, Кремер, Суарес, Швоб и Бенда должны хуже разбираться во французских шедеврах, чем христианин-лавочник или полицейский агент? Или, может быть, Макс Жакоб хуже владел французским, чем «ариец» — секретарь мэрии? А полуеврей Пруст, он что, Расина понимал только наполовину? И кто лучше объяснит вам Стендаля, прославившийся безграмотностью писатель-ариец Шуке или еврей Леон Блюм? Но нам сейчас важно не то, что это заблуждение, а то, что это заблуждение коллективное. И еврей должен сам себя допрашивать и выносить приговор: правда это или ложь; мало того, он же должен доказывать свою невиновность, а доказательства, которые он представляет, всегда единодушно отвергаются. Он может сколь угодно далеко продвинуться в познании произведения, традиции, эпохи, стиля, но истинная ценность рассматриваемого объекта, ценность, доступная лишь французским французам, — это как раз то, что находится "за всем этим", это то, чего не выразить словами. Напрасно он будет демонстрировать свою культуру, свои работы: это все еврейская культура — и работы еврейские: как раз в том и виден еврей, что он даже не подозревает о таких вещах, которые всякий должен понимать. Таким образом, его стараются убедить в том, что истинную суть вещей он не ухватывает; вокруг него напускается некий неосызаемый туман, который и есть истинная Франция со своими истинными ценностями, своим истинным тактом, своей истинной моралью — но он к ней никакого отношения не имеет. Точно так же, он может приобретать какие угодно блага, хоть земли, хоть замки — если сумеет, но в тот самый миг, когда он станет их законным владельцем, значение этих владений неуловимо изменится. Только француз, сын француз, сын или внук крестьянина способен по-настоящему владеть. Чтобы владеть хижинкой в деревне, недостаточно купить ее за свои кровные, — надо еще знать всех соседей, их родителей и дедов, знать, что выращивают в округе и какие дубы и буки растут в окрестном лесу, надо уметь пахать, охотиться, удить рыбу и надо в детстве вырезать свои инициалы на дереве и найти их, увеличившиеся, в зрелости. Можно быть уверенным, что еврею таких условий не выполнить. Может, правда, случится, что и француз тоже, но

существуют же официальные привилегии... Как существуют еврейский и французский способы добавлять воду в молоко.

Таким образом, даже живя внутри сообщества, еврей остается непринятым, чужим, затесавшимся. Он и все может иметь, и в то же время, ничем не владеет, потому что владения, говорят ему, не приобретаются. Все, чего он касается, все, что он покупает, обесценивается в его руках; истинные, земляные блага — всегда те, которых у него нет. А ведь он отлично знает, что не меньше других вносит в построение светлого будущего того сообщества, которое его отталкивает. Но если уж у него не отнять будущего, так ему, по крайней мере, откажут в прошлом. И нужно, кстати, признать, что, взглядываясь в прошлое, он не разглядит представителей своей расы: не было во Франции евреев-королей, министров, знаменитых капитанов, знатных вельмож, артистов, ученых — и Французскую Революцию совершил не еврей. Загадки здесь нет: вплоть до XIX века евреи, как и женщины, были лишены самостоятельности, и участвовать в политической и общественной жизни и они, и женщины начали недавно. О том, что евреи могли принести в мир, если бы были эмансипированы раньше, достаточно говорят имена Эйнштейна, Чарли Чаплина, Бергсона, Шагала, Кафки. Но нужды нет, дело обстоит именно так: такого рода французам история Франции не принадлежит. Их коллективная память сохранила им лишь черные воспоминания о погромах, гетто, изгнаниях; двадцать веков повторяющихся горчайших и однообразных мучений заменили собой эволюцию. Евреи все еще внеисторичны. и в то же время это самый — или почти самый древний народ; именно этим объясняется их неизменно старообразный и вечно новый облик: им дана мудрость и не дано истории. Все это не важно, скажут мне, нужно просто принять их без всяких ограничений, и наша история будет принадлежать и им, или по крайней мере, их детям. Однако никто пока не спешит что-нибудь для этого сделать. Они все в том же взвешенном состоянии, по-прежнему «беспочвенны» и не уверены ни в чем. Как же может не возникнуть у них мысль вернуться в Израиль, чтобы обрести там сообщество и прошлое, которые компенсируют им то, в чем им отказано здесь. Сообщество евреев, построенное не на основе общности происхождения, территории, религии — по крайней мере в современной Франции — или материального интереса, а на основе идентичности ситуации, могло бы обеспечить им поистине духовную связь, которую питали бы культура, привязанность и взаимопомощь. Но их враги немедленно заявят, что общность эта чисто этническая, да и сами они, слишком несвободные для того, чтобы самоопределиться, быть может, употребят слово «раса». И этим мгновенно поддержат антисемитов: "Во, слышали? — есть такая еврейская раса, сами это признают, и потом, они же везде объединяются!" И действительно, если евреи захотят обрести в своем сообществе основания для законной гордости, то, поскольку они не могут гордиться ни специфически еврейским коллективным трудом, ни собственно израильской цивилизацией, ни какой-то мистической общностью, то они в конце концов неизбежно должны прийти к восхвалению расовых качеств. Таким образом, антисемит выигрывает во всех вариантах. Одним словом, от еврея, втиснувшегося во французское общество, требуют, чтобы он существовал изолированно. Если он с этим не соглашается, его оскорбляют. Но даже если он подчиняется, в общество его все равно не принимают, его терпят. И, не скрывая предубеждения, при всяком удобном случае напоминают, что он еще должен себя зарекомендовать. В случае войны или восстания от «настоящих» французов никаких рекомендаций не требуется, они должны просто исполнить свой воинский или гражданский долг. К евреям отношение иное, и они могут не сомневаться, что будет сурово подсчитано,

сколько именно их было в армии. Вот так каждый из них вдруг обнаруживает свою солидарность с единоверцами. И даже если он давно уже вышел из призывного возраста, он — ясно или смутно — почувствует, что ему надо идти, потому что везде уже кричат, что евреи отсиживаются. Так ведь, говорят, есть основания. Да нет их; Штекель в своем исследовании комплекса иудея — к этой работе мы еще вернемся — даже приводит такую фразу (это говорит еврейка): "Христиане обычно кричат, что евреи всегда увиливают, как только могут, поэтому мой муж и хотел идти именно добровольцем." А ведь речь здесь о начале войны 1914 года в Австрии, которая до этого последний раз воевала в 1866 году, причем имела профессиональную армию. Та репутация, которую создали евреям в Австрии — да и во Франции тоже — была непосредственным, примитивным следствием предубеждения против еврея. Во время международного кризиса 1938 года, закончившегося Мюнхеном, французское правительство призвало лишь отдельные категории резервистов; большая часть людей, способных носить оружие, еще не была мобилизована, и однако в витрину магазина одного из моих друзей, еврея-коммерсанта из Бельвиля, уже летели камни: еще бы — уклоняется от мобилизации. Таким образом, еврей, чтобы его не трогали, должен идти под пули раньше других, и если не станет хлеба, он должен больше других голодать, и какое бы несчастье ни обрушилось на страну, он должен пострадать сильнее всех. Эта постоянная обязанность доказывать, что он тоже француз, создает для еврея ситуацию виновности: если он при любых обстоятельствах не сделает больше других — и намного больше других, — он виновен, он — грязный еврей. Перефразируя Бомарше, можно сказать: если судить по тем качествам, которых требуют от еврея, чтобы признать его «настоящим» французом, то сколько найдется французов, достойных быть евреями в своей собственной стране?

Поскольку работа еврея, его права и его жизнь зависят от мнений, ситуация его в высшей степени нестабильна; юридически неприкосновенный, он оказывается заложником настроений и страстей «настоящего» общества. Он следит за ростом антисемитизма и предчувствует кризисы и грядущие потрясения, как крестьянин следит за погодой и предчувствует грозу. Он все время старается просчитать, чем отзовутся для него международные события. Он может запастись правовыми гарантиями, богатствами, отличиями — все это только сделает его еще более уязвимым, и он это знает. Однако он знает и потрясающие достижения представителей своей расы, и ему кажется, что их усилия всегда приводят к успеху, но в тоже самое время — что какое-то проклятие обрекает эти усилия на бесплодность, и ему никогда не получить даже тех гарантий, какие имеет самый обездоленный христианин. Возможно, именно это составляет один из смысловых пластов «Процесса» еврея Кафки. Подобно герою этого романа, еврей оказывается подсудимым в долгом судебном процессе; он ничего не знает о своих судьях и почти ничего — о защитниках, и он не знает, в чем его вина, но в то же самое время знает, что его считают виновным; суд без конца переносится: на восьмое, на пятнадцатое, — он пользуется отсрочками, чтобы гарантировать себя тысячью способами, но каждая из этих принятых наугад предосторожностей добавляет еще что-то к его виновности. Внешне его ситуация может казаться блестящей, но этот нескончаемый процесс незаметно подтачивает его, и не сегодня-завтра явятся, как в романе, незнакомые люди, скажут, что процесс он проиграл, схватят, уведут и зарежут где-нибудь на пустынной окраине. Антисемиты правы, говоря, что еврей ест, пьет, читает, спит и умирает как еврей. А что еще ему остается? Они умело отравили его пищу, его сон и даже его смерть; как он может быть другим, когда он вынужден

каждую минуту определяться в потоке этой отравы? А когда он выходит из дома и на улице ли, в обществе ли встречает людей, которых в одной еврейской газете назвали «те», он ловит на себе их взгляды, он чувствует в этих взглядах смесь страха, презрения, укоризны и братской любви, и он должен решить, согласен ли он перевоплощаться в персонажа, роль которого ему навязывают. И если согласен, то где намерен остановиться? А если отказывается, то отказывается ли он от всякого родства с остальными евреями или только от этнического? И что бы он ни делал, он уже направлен по этой дороге. У него есть выбор: он может быть храбрецом или трусом, может быть веселым или грустным, он может любить христиан или убивать их, но не быть евреем — такого выбора у него нет. Или, точнее, если он выберет это, если он заявит, что евреев не существует, если начнет насильственно и отчаянно отрицать в себе еврейские черты, то как раз этим и определит себя как еврея. Потому что мне, поскольку я не еврей, ничего не надо ни отрицать, ни доказывать, — если же еврей решит отрицать существование своей расы, то ему и придется доказывать это. Бросив его в ситуацию еврея, общество отвернулось от него, и он теперь должен отвечать перед собой — и отвечать собой за судьбу и за саму природу еврейского народа. Потому что никому не важно, что говорит и делает еврей, и не важно, имеет ли он ясное представление о своей личной ответственности или не имеет никакого. Все происходит так, словно он обязан каждый свой поступок поверять неким кантовским императивом, — так, словно он обязан на каждом шагу задаваться вопросом: "А если бы все евреи поступали так, как я, — как бы это отразилось на их жизни?" И на вопросы, которые он себе задает ("Что, если бы все евреи были сионистами? — или, наоборот, если бы все обратились в христианство? — а если бы все они отрицали, что они евреи?" и т. д.), он должен отвечать в одиночку, без всякой помощи, — отвечать, выбирая, определяя себя.

Если мы согласимся с тем, что человек — это свобода выбора в заданной ситуации, то легко поймем, что эту свободу можно определить как аутентичную или неаутентичную, в зависимости от ее выбора самой себя в той ситуации, в которой она возникает. Аутентичность, по самому смыслу слова, предполагает способность трезво и адекватно оценивать ситуацию, брать на себя ответственность, принимать опасности, которыми ситуация чревата, и с гордостью — или в унижении, а иногда — с ненавистью и страхом отстаивать свои права. Вне всякого сомнения, аутентичность требует большой смелости — и не только смелости, поэтому не может вызывать удивления то, что неаутентичность распространена значительно шире. Возьмите буржуа или христиан: в большинстве своем они неаутентичны в том смысле, что не позволяют себе жить в полном соответствии со своим положением буржуа или христиан, вечно скрывая от себя некие детали. И поскольку коммунисты записали в своих программах "радикализацию масс", а Маркс разъяснил, что рабочий класс должен развить в себе самосознание, то это может означать лишь то, что и пролетариат в массе своей поначалу тоже неаутентичен. Еврей не исключение из этого правила; для него быть аутентичным означает жить в полном соответствии со своей ситуацией еврея, а быть неаутентичным значит отрицать ее или пытаться от нее уйти. И неаутентичность для него несомненно более привлекательна, чем для других людей, потому что принимать такую ситуацию, в какой оказывается он, и жить в ней — просто мучение. Даже в ситуации человека социально наименее защищенного обычно отыскивается та ниточка солидарности, которая связывает его с другими людьми; так, экономические условия существования наемных рабочих в преддверии надвигающейся революции — или принадлежность людей к какой-либо, даже преследуемой, церкви уже изначально создают

глубокую общность материальных и духовных интересов. Но, как мы показали, евреи не связаны общностью интересов и общей верой. У них нет общего отечества и нет никакой истории. Единственное, что их объединяет, — это враждебно-презрительное отношение к ним тех сообществ, в которых они живут. И аутентичным евреем будет тот, который утверждает себя в атмосфере окружающего презрения и — через это презрение. Ситуация, которую он хочет до конца понять и прожить, в периоды социального перемирия почти не поддается фиксации — она в том, что витает в воздухе, в неуловимом ощущении лиц и слов, в прячущейся за безобидными вещами угрозе — это какая-то абстрактная связь, соединяющая его с другими, в иных отношениях очень непохожими на него людьми. Напротив, с его точки зрения, все говорит за то, что он такой же француз, как все остальные: состояние его дел напрямую зависит от уровня жизни в стране; судьбу его детей обеспечивают мир и величие Франции; язык, на котором он говорит, и культура, в которой он воспитан, позволяют ему основывать все его расчеты и планы на принципах, общих для всей нации. Так что ему достаточно было бы расслабиться, и он забыл бы свое положение еврея, если бы не чувствовал, что везде (мы в этом убедились) разлита эта почти необнаружимая отравляющая враждебность других. И не то удивительно, что есть неаутентичные евреи, а то, что пропорционально их меньше, чем неаутентичных христиан. Тем не менее, именно определенные поступки неаутентичных евреев послужили антисемитам источником вдохновения для сотворения их Мифа о еврее как таковом. В действительности, для неаутентичных евреев характерно то, что они проживают свою ситуацию, убегая от нее. Они выбрали отрицание своей ситуации или ответственности, или, наконец, отверженности, которая кажется им невыносимой. Это не обязательно означает, что они хотят уничтожить понятие «еврей» или что они определенно отрицают существующую "еврейскую действительность", но их реакции, их чувства и их действия неявно направлены на разрушение этой действительности. Одним словом, неаутентичные евреи — это люди, которых другие люди считают евреями, и которые, оказавшись в этой невыносимой ситуации, избрали бегство. Ситуации, возникающие в результате, различны и не встречаются все одновременно у одних и тех же людей, каждую из них можно описать как дорогу бегства. Антисемит сближает и соединяет эти различные, иногда несовместимые дороги бегства и таким способом изображает портрет чудовища, который выдает за портрет еврея как такового; в то же время, этот портрет изображает сознательные усилия бегства от мучительной ситуации в виде наследственных черт, запечатленных на самом теле израэлитянина, следовательно, не поддающихся изменению. Если мы хотим добиться ясности, мы должны разделить притянутые друг к другу части и вернуть независимость "дорогам бегства", а не считать врожденным свойством то, что по своей сути является действием. Мы должны понять, что описания всех этих дорог могут иметь отношение только к неаутентичному еврею (термин «неаутентичный», разумеется, не несет в себе смысла морального осуждения) и что их необходимо дополнить описанием еврейской аутентичности. И наконец, мы должны проникнуться пониманием того, что, при всех обстоятельствах, путеводной нитью нам может служить только ситуация, в которой находится еврей. Если мы примем этот метод и будем строго его придерживаться, быть может нам удастся заменить грандиозный манихейский миф о еврею истиной, которая будет менее величественной, но более конкретной.

В чем заключается самая первая особенность антисемитской мифологии? Вот в чем: евреи, скажут нам, уж очень сложны, без конца занимаются самоанализом и мудрят. Их

часто называют "чересчур умными", не задавая вопрос, как эта склонность к анализу и интроспекции совмещается с той страстью к наживе и с тем слепым карьеризмом, которые им в то же самое время приписывают. Мы, со своей стороны, готовы признать, что выбор бегства предопределяет для некоторой части евреев — как правило, интеллектуалов — довольно устойчивую позицию рефлектирующего созерцателя. Но нам надо еще раз отдать себе отчет в том, что эта созерцательность не унаследована, для еврея это тоже одна из дорог бегства, — и именно мы его преследуем.

Штекель и ряд других психоаналитиков говорят в этой связи о "комплексе иудея"; помимо того, многие евреи упоминают и комплекс неполноценности. Я не считаю неудобным употреблять это выражение, поскольку здесь подразумевается, что комплекс не приобретен извне, но что еврей прививает себе этот комплекс, выбрав неаутентичный способ проживания своей ситуации. В итоге, еврей позволяет антисемитам убедить себя и становится первой жертвой их пропаганды. Он соглашается, что если еврей существует, он должен иметь те черты, которые приписывает ему народное недоброжелательство, и, становясь мучеником в прямом смысле этого слова, старается на себе самом доказать, что «еврея» не существует. Его смятение часто приобретает специфическую форму — оно переходит в боязнь действовать и чувствовать по-еврейски. Медицине хорошо известны психастеники, мучимые страхом, что они убьют кого-нибудь, выбросятся из окна или произнесут неблагозвучное слово. С определенной мерой условности их можно сравнить с некоторыми евреями. Хотя тревоги еврея редко достигают степени патологии, но он позволяет отравить себя определенными представлениями, которые сложились о нем у других, и живет в страхе, что своими поступками подтвердит эти представления. Таким образом, мы, воспользовавшись снова термином, который недавно употребили, можем сказать, что его поведение постоянно внутренне переопределено. В самом деле, его поступки определяются не только теми мотивами, которые можно усмотреть в аналогичных поступках неевреев, — выгодой, страстью, альтруизмом и т. д., — они еще продиктованы стремлением радикально отличаться от канонически «еврейских» поступков. Сколько евреев обдуманно добры, бескорыстны и даже расточительны из-за того, что евреев принято считать жадными. Сказанное, заметим, никоим образом не означает, что им при этом приходится бороться со «склонностью» к скупости. Нет никаких причин априори считать иудея более скупым, чем христианина. Скорее, это означает, что их великодушные порывы отравлены решением быть великодушными. Спонтанность и обдуманный выбор смешаны здесь неразделимо; здесь преследуется цель одновременно и достигнуть некоего результата во внешнем мире, и, в то же время, доказать самому себе, доказать всем, что не существует такой "еврейской натуры". Поэтому-то многие неаутентичные евреи и играют роль неевреев. Многие из них рассказывали мне о своей занятой реакции на перемирие 1940 года. Известна выдающаяся роль, которую евреи играли в Сопротивлении; именно они составляли его главные силы до того, как в действие вступили коммунисты; в эти четыре года они проявили отвагу и решимость, поистине достойные преклонения. В то же время, некоторые из них долго колебались, прежде чем начать «сопротивляться», — им казалось, что Сопротивление уж слишком отвечает интересам евреев, и поначалу это их останавливало: они хотели быть уверены, что борются в качестве французов, а не в качестве евреев. Подобная щепетильность наглядно показывает специфический характер их размышлений. Ситуация еврея сказывается во всем, и он не в состоянии просто принимать решения на основе конкретного и четкого анализа фактов. Одним словом, к характерной для него

рефлектированности он приходит естественным путем. Неуверенный и щепетильный, еврей не может только действовать или только думать, но он еще наблюдает за собой действующим, за собой думающим. Следует, однако, заметить, что еврейская рефлектированность не есть производное от абстрактной любознательности или от стремления к нравственному преображению, а является, по существу, практикой. Интроспекция для еврея — средство понять в себе не человека, а именно еврея, и понять он хочет для того, чтобы отрицать. Цель его не в том, чтобы выявить у себя те или иные недостатки и бороться с ними, но в том, чтобы своим поведением доказать, что этих недостатков у него нет. В этом объяснение и специфического характера еврейской иронии, чаще всего обращенной на него самого и являющейся выражением постоянного стремления посмотреть на себя со стороны. Еврей знает, что на него смотрят, поэтому, забегая вперед, он старается взглянуть на себя глазами других. Такой объективизм по отношению к самому себе — это еще одна уловка неаутентичности: пока он наблюдает за собой «безучастным» взглядом постороннего, он и в самом деле ощущает себя посторонним самому себе: он — другой человек, он просто свидетель.

В то же время он прекрасно понимает, что эта отстраненность от себя будет недействительной, если ее не подтвердят другие. Вот откуда происходит эта весьма часто встречающаяся у евреев способность к усвоению. Еврей поглощает любые знания с жадностью, которую нельзя объяснить абстрактной любознательностью, — в чем его интерес? Он хочет быть "просто человеком" и ничем больше, — таким же человеком, как все прочие, и он надеется стать им, вникнув во все человеческие мысли и приобретя общечеловеческий взгляд на мир. Он развивает себя, чтобы разрушить в себе еврея, он хотел бы, чтобы к нему относился слегка измененный афоризм Теренция: *Nil humani mihi alienum puto ergo homo sum*. В тоже время, он старается затеряться в толпе христиан. Как мы видели, христиане, по обыкновению не стыдясь евреев, объявляют, что для них не существует раса, но единственно и только — человек, и если еврей очарован христианами, то причина не в их достоинствах, которых он не преувеличивает, а в том, что они — представители непоименованного, безрасового человечества. И когда он старается проникнуть в самые закрытые круги общества, им движут не безудержные амбиции, в которых его так часто упрекают. Или, точнее, эти амбиции являются выражением одного-единственного стремления: добиться признания его человеком. Если он хочет везде проскользнуть, то лишь потому, что он не может быть спокоен, пока существует среда, которая его выталкивает и, выталкивая, конституирует его как еврея в его собственных глазах. В принципе, это движение к ассимиляции прекрасно: еврей отстаивает свои права француза. К несчастью, безуспешность его попыток predetermined; он хочет, чтобы в нем видели "обыкновенного человека", но даже в тех кругах, куда ему удастся проникнуть, его принимают как еврея: богатого и могущественного, с которым "просто надо" дружить, или «хорошего» (не такого, как другие), с которым дружат искренне несмотря на его расу. Все это для него не тайна, но если бы он признался себе в том, что его принимают как еврея, его попытки потеряли бы всякий смысл, и он был бы глубоко разочарован. Поэтому он прибегает к самообману и скрывает от себя правду, которую в глубине души все-таки знает: он завоевал какое-то положение как еврей, он сохраняет его теми средствами, которыми располагает, то есть средствами еврея, но в каждом новом достижении он видит знак своего продвижения по пути ассимиляции. Само собой разумеется, что антисемитизм, возникающий почти мгновенно как реакция среды на проникновение в нее еврея, не позволит ему долго не

замечать того, что ему так хотелось забыть. Однако приступы антисемитизма парадоксальным образом увеличивают достижения еврея, привлекая к нему новых людей и открывая перед ним новые возможности, потому что его амбиции — это, в сущности, поиски безопасности, точно так же, как его снобизм — если он есть — это стремление ассимилировать национальные ценности (картины, книги и т. д.). Так он проходит — быстро и с блеском — все социальные слои, но при этом остается чем-то вроде твердого ядрышка в принявшей его среде. Ассимиляция его столь же блистательна, сколь и эфемерна. Его в этом часто упрекают; так, по свидетельству Зигфрида, американцы усматривают причину своего антисемитизма в том, что иммигранты-евреи, с виду ассимилировавшиеся раньше всех, вновь проявляются как евреи во втором или третьем поколении. Само собой, интерпретируется это в том смысле, что еврей не хочет по-настоящему ассимилироваться, и значит, за его притворной податливостью прячется обдуманная, сознательная приверженность традициям своей расы. Но все как раз наоборот: только потому, что его никогда не принимают как обыкновенного человека, а всегда и везде — как именно еврея, — только поэтому еврей и неассимилируем.

Эта ситуация рождает новый парадокс: неаутентичный еврей, стремясь затеряться в толпе христиан, в то же время остается жестко привязанным к еврейской среде.

Куда бы ни проникал еврей, убегая от еврейской действительности, он чувствует, что его встречают как еврея и в каждое мгновение воспринимают только в этом качестве. Его жизнь среди христиан — далеко не отдых, она не дает ему той анонимности, которой он ищет, напротив, он находится в постоянном напряжении и в своем бегстве к человеку повсюду несет с собой образ, который его преследует. Вот это и рождает солидарность всех евреев: не поступки и не интересы, а ситуация. Сильней двухтысячелетних страданий их объединяет нынешняя враждебность христианского окружения. Им нет смысла утверждать, что лишь чистая случайность приводит их в одни и те же кварталы, дома, предприятия, — между ними есть сильная и сложная связь, которая заслуживает того, чтобы ее описать. В самом деле, еврей может употребить слово «мы» только разговаривая с евреем. И у всех (по крайней мере, неаутентичных) евреев появляется общий соблазн поверить «народному» мнению, что они "не такие люди, как другие", — и общая же, слепая и отчаянная решимость бежать от этого соблазна. Но когда они встречаются друг с другом в семейственной, домашней обстановке, оказывается, что устранение наблюдающих неевреев одновременно устраняет и еврейскую действительность. Само собой, тому христианину, которому случится попасть в такое общество, собравшиеся покажутся более чем когда-либо похожими на евреев — потому, что они раскрепощаются. Но это раскрепощение вовсе не означает, что они с наслаждением дают волю своей "еврейской натуре", как их в этом обвиняют, — наоборот, они о ней забывают. В самом деле, когда еврей находится в обществе евреев, он для них, а значит, и для самого себя — просто человек и ничего больше. Доказательством, если оно нужно, может служить то, что очень часто члены одной семьи не замечают характерных этнических черт у своих родных (характерными этническими чертами мы называем здесь наследственные биологические особенности, принятые нами в качестве бесспорно существующих). Я был знаком с одной дамой, еврейкой, сын которой в 1934 году вынужден был по каким-то делам ездить в нацистскую Германию. У сына была типичная внешность французского израэлиты: горбатый нос, оттопыренные уши и т. д., но когда во время одной из таких поездок кто-то выразил тревогу за его судьбу, мать ответила: "О, я совершенно спокойна, он абсолютно не похож на еврея".

Однако, в силу самой диалектики еврейской неаутентичности, это строительство внутреннего убежища, эти попытки утвердить нечто имманентно еврейское, чтобы еврей перестал быть этническим символом и растворился в некоей коллективной субъективности, а христианин перестал играть роль глазка, — все эти хитроумные способы бегства сводятся на нет универсальным и постоянным присутствием нееврея. Даже в самом тесном своем кругу евреи могли бы сказать о нем то же, что Сен-Жон Перс сказал о солнце: "Его не представили, но оно — здесь, среди нас". Они знают, что даже естественное желание ходить друг к другу в гости в глазах христиан обличает в них евреев. И всякий раз, когда они появляются в обществе, их единоверческая солидарность метит их словно каленым железом. Еврей, встретивший другого еврея в собрании христиан, несколько напоминает француза, встретившего за границей соотечественника. Но француз любит показать всем окружающим, что он француз. Напротив, еврей, оказавшись единственным израэлитом в нееврейской компании, постарается не чувствовать себя евреем. Но если еще один еврей окажется там, он будет чувствовать себя в опасности из-за другого. И вот он, только что не замечавший характернейших этнических черт своего сына или племянника, уже следит за единоверцем глазами антисемита и со щемлящим чувством обреченности замечает в нем объективные знаки их общего происхождения; он боится, что эти открытия сейчас сделают и христиане, и торопится предупредить их; потеряв терпение, он становится антисемитом по доверенности и за чужой счет. И каждая обнаруженная им еврейская черточка для него как удар кинжала, потому что ему кажется, что она обнаружена в нем самом, но, заданная объективно, недоступна и непоправима. Да и не важно, в самом деле, кто провозглашает еврейскую расу: после того, как она провозглашена, все попытки еврея отрицать ее существование утрачивают смысл. Известно, что враги евреев любят подтверждать свои мнения ссылкой на то, что "нет большего антисемита, чем сам еврей". На деле, антисемитизм еврея — заемный. В основном, он сводится к болезненно-навязчивому выискиванию у своих родных и близких недостатков, которые он изо всех сил старается отрицать. Штекель в уже цитированном нами исследовании приводит характерный отрывок из рассказа женщины на сеансе психоанализа: и воспитание детей, и вообще все в еврейской семье должно идти так, как говорит он (муж). Когда куда-нибудь идут, еще хуже: он следит за каждым ее шагом и все критикует, причем так, что выдержать это нет ни какой возможности. В юности она была надменна, все восхищались ее уверенностью и изысканностью ее манер. Сейчас она живет в постоянном страхе совершить какой-нибудь промах, она боится осуждения мужа, которое читает в его глазах. При малейшей оплошности он упрекает ее в том, что она ведет себя по-еврейски.

Так и кажется, что присутствуешь при этой драме для двух действующих лиц: муж, критик, почти педант, постоянно о чем-то размышляющий и постоянно упрекающий жену за то, что она еврейка, потому что до смерти боится, что сам кому-то покажется евреем; и жена, раздавленная его безжалостным и враждебным взглядом, и чувствующая, что против воли увязла в своем «еврействе», и предчувствующая — даже не осознавая этого, — что каждый ее жест, каждая ее фраза выйдут у нее чуть-чуть фальшивыми и откроют всем ее происхождение. Ад для обоих! Но в антисемитизме еврея, выступающего в качестве объективного свидетеля и судьи, надо, кроме всего прочего, видеть и попытку отмежеваться от недостатков, числящихся за его "расой".

Точно так же, многим людям случается судить самих себя с трезвой и беспощадной суровостью, потому что эта суровость обеспечивает некое раздвоение, и, ощущая себя

судьями, они уходят от положения виновных. Как бы то ни было, явное наличие в других тех черт "еврейской действительности", которые еврей отрицает в себе, способствует возникновению в сознании неаутентичного еврея логически необъяснимого мистического чувства связи с другими евреями. В сущности, это чувство есть признание некой сопричастности: евреи «соучаствуют» друг в друге, каждого из них всю жизнь неотступно преследуют все остальные, и эта мистическая сопричастность тем сильнее, чем упорнее старается неаутентичный еврей отрицать в себе еврея. В качестве доказательства я приведу здесь только один пример. Как известно, за рубежами нашего отечества довольно много проституток-француженок. Встретить француженку в публичном доме в Германии или в Аргентине французу всегда было не слишком приятно. Однако чувство сопричастности национальной действительности у него совсем другое: ведь Франция — нация, следовательно, французский патриот может считать, что он принадлежит некой коллективизированной действительности, проявляющей себя во всяких формах активности — экономических, культурных, военных... — и если некоторые второстепенные моменты оказываются неприятны, он может ими пренебречь. У еврея, встретившего еврейку при аналогичных обстоятельствах, реакция иная: он против воли видит в этой ситуации унижения проститутки символическую картину унижения еврейского народа. На эту тему я мог бы вспомнить много анекдотических историй, но приведу только одну, поскольку слышал ее от непосредственного участника событий. Некий еврей, зайдя в публичный дом, выбрал проститутку и поднялся с ней в номер. Проститутка призналась ему, что она еврейка. У него мгновенно пропала потенция, а затем возникло такое невыносимое чувство унижения, что оно вызвало сильнейшую рвоту. Это не было отвращение к сексуальному контакту с еврейкой (ведь у евреев как раз чаще встречаются несмешанные браки), это было, пожалуй, ощущение личного участия в унижении еврейской расы, которую олицетворяла эта проститутка, то есть участие в унижении самого себя: получалось, что это он проституирован и унижен, — он и весь еврейский народ.

Таким образом, еврейское самосознание — пожизненный крест неаутентичного еврея, и он ничего не может с этим поделать. В то самое время, когда он всем своим поведением старается доказать, что у него нет приписываемых ему черт, он, как ему кажется, находит их у других и тогда обнаруживает, что как-то косвенно они передалась и ему. Он ищет единоверцев и бежит от них; он доказывает, что он просто человек среди людей, такой же, как все остальные, и в то же время чувствует, что его компрометирует поведение первого попавшегося прохожего, если этот прохожий — еврей. Он становится антисемитом, чтобы разорвать все связи с еврейским сообществом, и в то же время находит его в глубине своего сердца, ибо сердечной болью отзываются в нем оскорбления, которые антисемиты наносят остальным евреям. И эти постоянные переходы от надменности к ощущению своей неполноценности, от добровольного и страстного отрицания особенностей своей расы к мистической и чувственной сопричастности еврейской действительности, — это как раз и есть характерная черта неаутентичного еврея. Такое мучительное и безвыходное положение может привести некоторых из них к мазохизму, потому что мазохизм выступает в качестве паллиатива и дает им своеобразную передышку, кратковременный отдых. Еврея неотвязно преследует мысль о том, что он, отвечая за себя как все прочие люди, свободно совершает те поступки, которые считает правильными, но в это же время враждебно настроенные по отношению к нему соотечественники всякий раз заявляют, что поступить так, как он, мог только еврей. И ему уже кажется, что он становится евреем в тот момент, когда делает

попытку убежать от еврейской действительности. Ему кажется, что он ввязался в заведомо проигранную борьбу, в которой сам стал своим противником, и — в той мере, в какой он осознает свою ответственность за самого себя — он чувствует непосильную тяжесть ответственности перед другими евреями и христианами за то, что сделал себя евреем: это из-за него, хотя и вопреки его воле, еврейская действительность существует в мире. Но мазохизм — это желание, чтобы с тобой обращались как с объектом. Униженный, презираемый — или просто не замечаемый, мазохист рад, когда его отодвигают, когда им управляют, когда его используют как вещь. Он старается реализоваться в качестве неодушевленного предмета, отрекаясь тем самым от всякой личной ответственности. И некоторых евреев, уставших бороться с этим неуловимым, вновь и вновь отрицаемым, уничтожаемым и все время вновь появляющимся еврейством, привлекает такое полное самоотречение. Или уж лучше, в самом деле, заявить свою аутентичность и отстаивать свои права в качестве евреев. Но они не понимают, что проявление аутентичности — это восстание; они только хотят, чтобы все эти взгляды — и акты насилия, и проявления презрения — определили их в качестве евреев, подобно тому, как камню определено быть камнем, поскольку ему даны такие свойства и назначена такая судьба; и тогда они избавятся на краткий миг от этой заколдованной свободы, которая не дает им вырваться из их ситуации и которая, кажется, придумана с единственной целью — сделать их ответственными за все то, к чему они не хотят иметь ни малейшего отношения. Разумеется, не надо закрывать глаза на то, что этот мазохизм имеет и другие причины. В «Антигоне» Софокла есть такие великолепные и жестокие слова: "Для попавшей в несчастье ты слишком горда". Вековая близость к несчастью делает еврея, в отличие от Антигоны, не гордым в беде. Это, можно сказать, одна из существенных его черт, но из этого отнюдь не следует вывод, который часто делают, что, якобы, еврей высокомерен, когда у него успехи, и кроток, когда у него провал, — дело совсем в другом. Им усвоен тот любопытный совет, который мудрая гречанка дала дочери Эдипа: он понял, что скромность, молчание, терпение подобают несчастью, потому что оно само — уже грех в глазах людей. Безусловно, эта мудрость может породить мазохизм, вкус к страданию, но существенно то, что при этом сохраняется желание устраниваться от самого себя, чтобы получить, наконец, как вечное клеймо еврейскую натуру и судьбу, освобождающие от всякой ответственности и всякой борьбы. Таким образом, антисемитизм неаутентичного еврея и его мазохизм в некотором смысле представляют собой два предела его усилий: в одном случае, он доходит до отрицания своей расы, чтобы оказаться — при сугубо индивидуальном подходе — просто человеком без каких-либо дефектов, живущим среди других людей; во втором, он отказывается от своей человеческой свободы, чтобы уйти от греховной принадлежности к евреям и вернуться к покойному и пассивному существованию вещи.

Но антисемит добавляет к портрету новый штрих: еврей, говорит он нам, — абстрактный интеллектual, рационалист в чистом виде, и мы отлично слышим, что в его устах слова «абстрактный», "рационалист", «интеллектual» приобретают уничижительный оттенок. Ничего другого от него ожидать и не приходится, поскольку антисемит определяется конкретным и иррациональным владением богатствами всей Нации. Но если мы вспомним, что рационализм явился одним из основных инструментов освобождения людей, мы откажемся считать его чистой игрой абстракций, напротив, мы будем подчеркивать его созидательную мощь. Именно на рационализм уже два века — и не худших в истории — люди возлагают все свои надежды; он породил науки и их практические

приложения; он был идеалом и страстью; он стремился соединить людей, открывая им те универсальные истины, которые могли бы послужить всеобщему примирению и со свойственным ему наивным и симпатичным оптимизмом отважно путал Зло с ошибками. Ничего не поймет в еврейском рационализме тот, кто захочет увидеть в нем какую-то абстрактную склонность к спорам, не пожелав признать, что это не что иное как неизменная и юная любовь к людям. Но в то же время, это и дорога бегства, я бы даже сказал, — королевская дорога бегства. В самом деле, мы уже видели, что одни израэлиты пытаются отрицать еврейскую ситуацию своим поведением и в своем сознании, а другие выбирают себе такую концепцию мира, в которой нет места даже самому понятию расы, — и все это, разумеется, лишь попытки спрятаться от ситуации еврея. Но если бы им удалось убедить себя и убедить других в том, что понятие «еврей» противоречиво, если бы им удалось развить в себе такое видение мира, которое позволило бы им не видеть еврейской действительности, как дальтоники не видят красного или зеленого, — разве тогда не смогли бы они с чистой совестью заявить, что они "просто люди среди людей"? Рационализм евреев есть страсть, — страсть к Всеобщему, и они выбрали ее для борьбы с индивидуалистическими концепциями, которые превращают их в особые существа. Разум — вот то, что лучше всего распределено в мире; он не принадлежит никому, и он принадлежит всем, и он для всех одинаков. Если существует Разум, то уже нет истины французской и истины немецкой, как нет истины негритянской или еврейской, — есть лишь единая Истина, и лучший — тот, кто ее открывает. Перед лицом всеобщих и вечных законов и сам человек становится всеобщим. И нет больше евреев и поляков, есть люди, живущие в Польше, и другие, объединенные записью в документах: "вероисповедание иудейское", но поскольку в основе их существования — всеобщее, они всегда могут прийти к согласию. Вспомните, как у Платоновского философа из диалога «Федон» пробуждение разума становится смертью тела, отмиранием особенностей характера, как бесплотный философ, из любви к абстрактной и всеобщей истине, теряет все свои индивидуальные черты и становится оком Всеобщего. Именно такой бесплотности и ищут некоторые израэлиты. Лучшее средство не ощущать себя евреем — обратиться к Разуму, потому что рассуждение равно действительно для всех и воспроизводимо всеми: не существует еврейского способа делать математические расчеты, поэтому, когда еврей-математик рассуждает, он утрачивает плоть и становится человеком всеобщим. И антисемит, проверяющий его рассуждения, сколько бы ни сопротивлялся, становится ему братом. Таким образом, рационализм, которому так страстно привержен еврей, это прежде всего упражнение в аскетизме и очищении, это побег во всеобщее; молодой еврей, ощутивший вкус блестящих и абстрактных умозаключений, — подобно младенцу, ощупью узнающему свое тело, — пробует и исследует это упоительное состояние человека всеобщего, и того согласия, той ассимиляции, в которых ему отказано в социальной сфере, он достигает в сфере высшей. Для него выбор рационализма — это выбор человеческой судьбы и человеческой природы. Поэтому заявление о том, что "еврей умнее христианина", в одно и то же время верно и неверно. Правильнее было бы сказать, что у еврея есть вкус к чисто интеллектуальному, что он любит заниматься такими объектами, как «все» и «ничто», что заниматься ими ему не мешают ни те бесчисленные, в частности, рудиментарные, табу, на которые наталкивается сознание христианина, ни та характерная индивидуалистическая чувствительность, которую столь охотно культивируют в себе неевреи. Надо еще добавить, что у еврея проявляется то, что я назвал бы страстным империализмом разума, поскольку ему важно не просто доказать,

что он прав, его цель — убедить собеседников в абсолютной и безусловной ценности рационализма. Он ощущает себя миссионером всеобщего; бросая вызов всеобщности католической религии, от которой он отторгнут, он хочет утвердить «католицизм» разума в качестве средства постижения истины и средства духовной связи людей. Не случайно иудейский философ Леон Брунsvик ставил знак равенства между прогрессом разума и прогрессом объединения человечества.

Антисемиты упрекают еврея в том, что он "не созидает", что он носитель "духа разрушения". Это абсурдное обвинение (разве Спиноза, Пруст, Кафка, Дариус Мийо, Шагал, Эйнштейн, Бергсон — не евреи?) может показаться правдоподобным благодаря тому, что еврейский интеллект часто приобретает критическую направленность. Но и тут дело опять-таки не в предрасположенности мозговых клеток, а в выборе оружия. В самом деле, на евреев спущены иррациональные силы, рожденные традициями, расизмом, судьбой нации, инстинктом. При этом утверждается, что именно эти силы создали культуру, историю, памятники и практические ценности, которые в значительной степени сохраняют в себе породившую их иррациональность и доступны только интуитивному познанию. Еврей защищается; отрицая заодно с иррациональностью и интуицию, он стремится рассеять эти темные силы, устранить этот магический вздор и вообще — все, что не может быть объяснено исходя из всеобщих принципов, все, что оставляет место для подозрений в особенности и исключительности. Он в принципе не доверяет тем тоталитарным образованиям, которые время от времени рождает христианский дух, и он не соглашается. Разумеется, можно в связи с этим говорить о разрушительных устремлениях, но то, что еврей хочет устранить, строго локализовано: это комплекс иррациональных ценностей, которые открываются лишь некоему непосредственному знанию — и то без гарантии. Еврей требует подтверждать речательствами и гарантиями все положения, выдвигаемые его противниками, потому что он этим боится самого себя. Он не доверяет интуиции, потому что она не подвергает себя сомнению, и следовательно, ведет к разъединению людей. Если он рассуждает и беседует со своим противником, то делает это для того чтобы с самого начала установить общее понимание, чтобы до всяких дебатов было достигнуто соглашение об исходных принципах. На основе такого предварительного соглашения он предлагает создать некий гуманный строй, опирающийся на всеобщность человеческой природы. И вечный критицизм, в котором его обвиняют, скрывает наивное стремление к разумному единению со своим противником и еще более наивную веру в то, что насилие совсем не обязательно в отношениях между людьми. В то время как антисемиты, фашисты и им подобные, взяв за исходную точку невыразимую в словах интуицию — такая она им и нужна — с необходимостью приходят к силе для навязывания тех представлений, которые они не могут внедрить иначе, неаутентичный еврей спешит растворить в критическом анализе все то, что способно разделить людей и подтолкнуть их к насилию, — ведь первой жертвой этого насилия будет он. Я отнюдь не забыл, что Спиноза, Гуссерль и Бергсон отводили место интуиции в своих построениях, но у двух первых она была рациональной, то есть основанной на разуме, критически обеспеченной и имевшей в качестве объектов всеобщие истины. Она ничем не напоминала паскалевскую "тонкость ума", а именно эта объявленная неоспоримой, зыбкая, предполагающая тысячу неосязаемых ощущений тонкость кажется израэлитам самым худшим врагом. Что касается Бергсона, то его философия дает любопытный пример построения системы антиинтеллектуализма средствами чистого интеллекта, — причем самого спекулятивного и критического. Именно посредством

рассуждений он ввел понятия чистой длительности и философской интуиции, но как раз эта интуиция, раскрывающая смысл длительности и жизни, обладает всеобщностью, поскольку каждый может ее применить, и направлена на всеобщее, так как ее объекты называемы и представимы. Мне понятна та крайняя щепетильность, с которой Бергсон подходил к использованию языковых средств, но в конце концов, он пришел к заключению, что слова играют роль проводников, наводчиков и не слишком надежных гонцов. Да и кто потребовал бы от них большего? И взгляните, как непринужденно он ведет спор, — перечитайте первую главу эссе о непосредственных данных, или классическую критику психофизиологического параллелизма, или критику теории афазии Брока. В самом деле, ведь можно вслед за Пуанкаре сказать, что неевклидова геометрия сводится к выбору определений и рождается в тот момент, когда я решу назвать прямыми определенный тип кривых, например, окружности, которые можно провести на поверхности сферы, — точно так же можно сказать, что философия Бергсона — это рационализм, выбравший для себя особый язык. Так, он выбрал наименования «жизнь», "чистая длительность" и т. д. для того, что в прежних философских системах называлось «непрерывностью», а понимание этой непрерывности окрестил «интуицией». И поскольку такое понимание требует предварительных критических исследований, и поскольку оно охватывает всеобщее, а не какие-то невыразимые особенности, то все равно, называть ли его иррациональной интуицией или синтетической работой разума. Если мы — по праву — называем иррационалистами Кьеркегора и Новалиса, то система Бергсона — это, можно сказать, неокрещенный рационализм. А лично я просто вижу в ней последнее ожесточение преследуемого: атаковать для самозащиты, овладеть иррационализмом противника как таковым, то есть обезвредить его и ассимилировать созидающим разумом. Действительно, иррационализм Сореля ведет прямой дорогой к насилию и, как следствие, к антисемитизму, в то же время иррационализм Бергсона абсолютно безвреден и единственно чему он может послужить — это всеобщему примирению.

Такая всеобщность, такой критический реализм, как правило, характерны для демократа. В силу свойственного ему отвлеченного либерализма он утверждает, что и евреи, и китайцы, и негры должны обладать теми же правами, что и остальные члены сообщества, но при этом он отстаивает права вообще людей, а не конкретных и неповторимых продуктов истории. Соответственно, и некоторые евреи привлекают к себе внимание демократа. Подвергающиеся всякого рода преследованиям и неассимилированные, нерастворившиеся в эгоистических и воинственных социумах, они мечтают о договорном сообществе, в котором само мышление примет форму договора, потому что будет диалогичным и потому что спорящие с самого начала заключат соглашение о принципах, — мечтают о сообществе, в котором такой "общественный договор" будет единственной коллективной связью. Евреи — самые кроткие люди на свете, страстные противники насилия. И эта упорная кротость, которую они сохранили в условиях жесточайших гонений, этот дух справедливости и разума, который они противопоставили как единственную свою защиту враждебному, жестокому и несправедливому обществу, — это, быть может, лучший их завет нам и это истинный знак их величия.

Но антисемит, паразитируя на свободных усилиях еврея жить и владеть своей ситуацией, немедленно превращает их в неизменную характерологическую черту, доказывающую, что евреи неспособны ассимилироваться. Еврей уже не рационалист, а резонер, и его стремление к позитивным поискам всеобщности совсем не стремление, а

просто доказательство того, что он не способен усвоить витальные расовые и национальные ценности. Дух свободной критики, в котором он черпает надежду на защиту от суеверий и мифов, становится сатанинским духом отрицания и тлетворным вирусом; вместо того, чтобы оценить этот инструмент самокритики, стихийно возникший в недрах современных обществ, в нем желают видеть постоянную угрозу национальным связям и патриотическим ценностям. Вместо того, чтобы отрицать любовь определенной части евреев к деятельности в сфере Разума, нам кажется, правильнее и полезнее будет попытаться дать объяснение их рационализму.

Если проинтерпретировать отношение некоторых из них к своему собственному телу, то мы опять получим нечто вроде попытки к бегству. В самом деле, известно, что характерные этнические черты евреев — черты чисто физические. Антисемит пользуется этим фактом и превращает его в миф, объявляя, что может определить своего врага с одного взгляда.

И реакция некоторых израэлитов — отрицание тела, которое их выдает. Естественно, интенсивность этого отрицания варьируется в зависимости от того, в какой мере их физический облик их демаскирует, но в любом случае, в их привязанности к собственному телу нет того самолюбования, того успокоительного чувства собственности, которое характерно для большинства «арийцев». Для этих последних их тело — плод французской земли, они владеют им через посредство той магической и глубинной сопричастности, которая уже обеспечила им пользование их землей и их культурой. И поскольку их тело — это их гордость, то они связывают с ним некое количество неукоснительно иррациональных ценностей, предназначенных для выражения понятий жизни как таковой. Шелер справедливо назвал эти ценности витальными; действительно, они не имеют отношения ни к элементарным телесным нуждам, ни к духовным запросам — но лишь к определенному типу развития, к определенному биологическому жанру, который, кажется, выражает интимное функционирование организма, гармонию и независимость органов, метаболизм клеток и, разумеется, "план жизни", — этот слепой и коварный замысел, в котором и заключен самый смысл конечности жизни. Грациозность, благородство, пылкость — вот такие это ценности. Можно констатировать, что мы находим их даже у животных; действительно, ведь говорят же: грациозность кошки, благородство орла. Само собой, в понятие расы люди вводят огромное количество таких биологических ценностей. Разве сама раса не есть чистая витальная ценность? Разве не включено в ее глубинную структуру суждение о ценности — поскольку сама идея расы уже содержит в себе идею неравенства? А раз так, то христианин, ариец и ощущает свое тело по-особому: у него нет простого и ясного осознания физических изменений его органов; все те сигналы, призывы и извещения, которые ему посылает тело, доходят до него с некоторыми коэффициентами идеализации, они всегда в большей или меньшей степени — символы витальных ценностей. Он даже прикладывает определенные усилия, стараясь обеспечить себе такое восприятие самого себя, которое соответствовало бы его витальному идеалу. Небрежность наших щеголей, пылкость и лихость, бывшие в моде в иные эпохи, жестокость итальянских фашистов и грациозность женщин, — все это биологические формы поведения, имеющие целью продемонстрировать аристократизм тела. С этими ценностями естественно связаны антиценности; так, в опалу попадают низкие функции тела, а также некоторые типы поведения и некоторые общественные мнения, например, отношение к стыдливости. В самом деле, ведь стыдливость — это не просто стыд наготы, это еще и определенная привычка относиться к телу как к драгоценности, и отказ видеть в нем просто инструмент, и

обычай прятать его в святилище из одежд как объект поклонения. Витальные же ценности неаутентичного еврея сорваны с него христианами, и если его тело напоминает о себе, немедленно является концепция расы и отравляет эти интимные ощущения; что же касается благородства и грации, то эти ценности монополизировали арийцы, и этого он у них не получит. Если бы он принял такие ценности, он, возможно, был бы вынужден пересмотреть свои представления об этническом превосходстве — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во имя самой идеи человека всеобщего он отказывается прислушиваться к тем сугубо частным сигналам, которые посылает его организм, во имя рациональности он отвергает иррациональные ценности и приемлет только духовные, — и, поскольку всеобщее стало для него высшей ценностью, мыслит себе некое всеобщее и рациональное тело. У него нет к своему телу презрения аскета, для него это не «шкура» и не «туша», но он не воспринимает его и в качестве объекта поклонения; в той мере, в какой он не забывает о нем, он относится к нему как к инструменту, о котором заботится лишь постольку, поскольку это необходимо, чтобы точно приспособить его для своих целей. И как он отказывается принимать во внимание иррациональные ценности жизни, точно так же он не соглашается с установлением иерархии естественных функций. Это несогласие срывает дважды: во-первых, оно влечет за собой отрицание этнической специфичности израэлитов, а во-вторых, играет роль империалистического наступательного оружия, силой которого должно привести христиан к убеждению в том, что их тела — не более чем инструменты. Это единственный источник того "отсутствия стыдливости", в котором антисемит не устает обвинять определенных евреев. При этом прежде всего выпячивается их рационалистическое отношение к телу. Но если тело — механизм, зачем налагать какие-то запреты на необходимые функции выделения? Зачем держать это тело под постоянным контролем? Им не надо наслаждаться, его не надо любить или стыдиться, надо только за ним ухаживать, чистить его и поддерживать в рабочем состоянии — как машину. Но помимо этого, под слоем такого рода бесстыдства, по крайней мере в отдельных случаях, несомненно можно различить и некоторое отчаяние: какой смысл прикрывать наготу тела, раздетого взглядами арийцев раз и навсегда? Разве быть среди них евреем не хуже, чем быть голым? И разумеется, подобный рационализм — удел отнюдь не только иудеев, многие христиане, врачи, например, усвоили такой же рационалистический взгляд на собственные тела или на тела своих детей, но тут речь идет о завоевании такой духовной свободы, которая в большинстве случаев вполне уживается со многими пережитками дологического сознания. Еврей, напротив, совсем не занимается критикой витальных ценностей: он сделал себя таким, что это не имеет для него смысла. Здесь нужно еще, в пику антисемиту, добавить, что этот телесный неуют может дать прямо противоположный результат и привести к крайней степени стыдливости. Мне много рассказывали об иудеях, которые стыдливостью далеко превосходили христиан и все время пытались куда-то спрятать свое тело, в то время как другие усиленно старались его одухотворить, иными словами — одеть, но не в витально ценное, поскольку в таковом отказано, а в духовно значимое. Для христианина мимика и жесты некоторых евреев зачастую утомительны из-за того, что они чересчур много значат. Они слишком ярко и слишком длительно выражают ум, доброту, покорность, горе. У нас стало модным высмеивать ту быструю и, если можно так сказать, говорливую жестикуляцию, которой еврей сопровождает свою речь. Такая пантомимическая живость, кстати, не столь распространена, как это изображают, но не это главное, — ее нужно отличать от определенных, внешне близких к ней проявлений, встречающихся,

например, у марсельцев. Запальчивая, быстрая, неиссякаемая жестикуляция марсельца идет от внутреннего огня, от постоянной взвинченности, от желания выразить всем телом то, что он видит или чувствует. У еврея же это — прежде всего желание быть предельно значимым, ощущать свой организм как знак, выражающий идею, возвысить свое тело, которое ему в тягость, до уровня объектов или истин, самораскрывающих свой смысл. Прибавим, что описания столь деликатных материй требуют множества оговорок и то, что мы сейчас излагали, относится не ко всем неаутентичным евреям — да и вся система поведения еврея может сильно варьироваться в зависимости от его образования, происхождения и, самое главное, от совокупности его взглядов.

Мне кажется, таким же образом можно объяснить и пресловутое иудейское "отсутствие такта". Разумеется, это обвинение содержит изрядную дозу недоброжелательства, однако, действительно, то, что называют тактом, у нас заносится в графу "тонкость ума", а к тонкости ума еврей относится подозрительно. Поступать тактично — значит оценивать ситуацию с одного взгляда, воспринимать ее синтетически и не столько анализировать, сколько чувствовать, но, в то же время, это значит и регулировать свое поведение, руководствуясь множеством неясных принципов, часть которых выводится из витальных ценностей, а другие порождены традициями вежливости и абсолютно иррациональными церемониями. Таким образом, поступок, совершенный "с тактом", предполагает, что совершивший его усвоил определенную концепцию мира, а именно: традиционалистскую, синтетическую и ритуальную, к которой критерий разумности неприложим; он предполагает также особое ощущение местного психологического климата и не может иметь никакой критической направленности; наконец, укажем еще, что такой поступок в полной мере обретает свой смысл только в строго регламентированном сообществе с установившимися идеалами, нравами и обычаями. Еврей имеет такое же природное чувство такта, как и любой другой человек — если говорить о такте как об изначальном понимании Другого, но он не стремится его иметь.

Согласие строить свое поведение на чувстве такта было бы равносильно признанию в том, что рассудок — неудовлетворительный посредник в межчеловеческом общении и что в тех случаях, когда речь идет о приспособлении к людям или управлении ими, традиции и темные интуитивные силы могут быть важнее рассудка; это было бы признанием некой казуистики, некой морали для частных случаев, следовательно — отказом от идеи всеобщности человеческой природы, требующей всеобщности и в подходах; пришлось бы признать, что отдельные ситуации несопоставимы — так же, как и отдельные люди, то есть пришлось бы перейти к индивидуализации. Но этим еврей подписал бы себе приговор, потому что славящийся своим тактом антисемит тут же объявил бы его "частным случаем" и исключил из национального сообщества. И вот, у еврея обнаруживается явная склонность верить, что самые тяжелые проблемы поддаются разумному решению; он не видит иррационального, магического, конкретного, частного, не различает нюансов, не верит в неповторимые чувства. В силу естественной защитной реакции этот человек, живущий мнением о нем других людей, пытается отрицать ценность мнений; справедливые суждения о вещах он склонен переносить на людей; он приближается к аналитическому рационализму инженера и рабочего, но не потому, что его формирует или притягивает мир вещей, а потому, что отталкивает мир людей. И он выстраивает аналитическую психологию, которая удобно заменяет синтетические структуры сознания игрой интересов, соединением желаний и алгебраической суммой наклонов. Так искусство доминировать, привлекать и

убеждать становится трезвым расчетом, впрочем, в интерпретациях поведения людей с помощью всеобщих понятий, само собой разумеется, есть риск ухода в область абстракций.

И действительно, именно наличие вкуса к абстракциям позволяет понять особое отношение еврея к деньгам. Говорят, еврей любит деньги. Однако коллективное сознание, охотно изображающее еврея жадным до наживы, редко совмещает его с другим популярным фольклорным образом — Скупого; более того, расточительство еврея — один из излюбленных мотивов антисемитских проклятий. По правде говоря, если еврей и любит деньги, то не из-за того, что ему как-то по-особому нравятся медные или золотые монеты или ассигнации, — деньги для него часто принимают абстрактную форму акций, чеков или банковских счетов. Следовательно, его привлекает не чувственная реальность, а именно ее абстрактная форма. На деле же речь идет о покупательной способности. Он предпочитает эту форму собственности всем остальным только потому, что она носит всеобщий характер. В самом деле, приобретение путем покупки не зависит от расы покупателя и не подвержено влиянию идиосинкразии; цена объекта предполагает произвольного покупателя, определяемого только тем, что он владеет суммой, обозначенной на этикетке. И как только эта сумма внесена, покупатель становится законным владельцем объекта. Таким образом, собственность купленная — это абстрактная и всеобщая форма собственности, противостоящая особому, иррациональному присвоению через сопричастность. Образуется порочный круг: чем богаче будет еврей, тем настойчивее антисемит-традиционалист будет утверждать, что истинную собственность дает не законное приобретение, а некое приспособление тела и духа к объекту владения (мы видели, что таким способом бедняга возвращает себе отечественную почву и отечественное духовное имущество). Антисемитская литература кишит обращенными к евреям гордыми фразами благородных разорившихся старцев и добродетельных сирот, основной смысл которых в том, что честь, любовь, добродетель, вкус и т. д. — "не купишь". Но чем больше антисемиты настаивают на таких видах присвоения, которые должны исключить из сообщества еврея, тем больше еврей будет стремиться утвердить в качестве единственного вида собственности собственность законную, приобретенную покупкой. В противовес тому магическому обладанию, в котором ему отказано и с помощью которого у него хотят украсть все, включая то, что он купил, он стремится к деньгам как к законному покупательному средству всеобщего и анонимного человека, ведь таким он и хочет быть. Настаивая на власти денег, он пытается, с одной стороны, защитить свои права потребителя в сообществе, которое их оспаривает, а с другой — разумно изменить связь владельца с объектом владения, чтобы ввести собственность в рамки некой рациональной концепции мира. В самом деле, коммерческий рациональный акт покупки узаконивает собственность, которая определяется просто как право использования. В то же время ценность приобретенного объекта предстает уже не в виде некой мистической маны, которой владеют лишь посвященные, а отождествляется с ценой, которая опубликована и непосредственно доступна всякому. Теперь ясно, что скрывается за стремлением еврея к деньгам: если ценность определяется деньгами, то она всеобща и рациональна, следовательно, не имеет каких-то смутных социальных источников и доступна всем, а значит, еврей не может быть исключен из общества и интегрируется в него в качестве анонимного покупателя и потребителя. И на красивые фразы антисемита "деньги не все могут" и "есть вещи, которых не купишь" еврей иногда отвечает утверждением всемогущества денег: "неподкупная совесть стоит дороже". И дело здесь не в цинизме или низости, — это просто контратака. Еврей хочет доказать антисемиту, что иррациональные

ценности — только видимость, и что, вообще говоря, всякий хотел бы обратить их в наличные. И если антисемит не бессребренник, доказательство получено: значит, в глубине души он тоже предпочитает законное приобретение за деньги мистическому (через сопричастность). Одновременно еврей становится человеком анонимным и всеобщим, определяемым только своей покупательной способностью. Таким образом, сразу объясняются и так называемая "жадность к наживе", и реальная щедрость еврея. Его "любовь к деньгам" — следствие обдуманного решения считать имеющими ценность только рациональные, всеобщие и абстрактные отношения между людьми и вещами; еврей потому утилитарист, что общественное мнение отказывает ему во всех видах наслаждения объектами, кроме одного — использования. Кроме того, он хочет с помощью денег приобрести те права, в которых ему отказано как частному лицу. Его не шокирует, когда его любят за деньги: уважение и лесть, которые приносит богатство, адресованы анонимному лицу, обладающему такой покупательной способностью, а ведь именно этой анонимности он и ищет; ситуация вполне парадоксальна: он хочет быть богатым, чтобы на него не обращали внимания.

Эти замечания помогут нам теперь обрисовать в основных чертах еврейскую «чувствительность». Можно предполагать, что она несет глубокий отпечаток выбора, сделанного евреем в отношении самого себя и в отношении смысла своей ситуации. Но мы не ставим задачи нарисовать портрет израэлитянина, поэтому ограничимся упоминанием о его долготерпении и вечном ожидании преследований, этом предчувствии катастрофы, которое он в счастливые годы старается заглушить в себе, но едва лишь небо начинают затягивать тучи, оно пророческой аурой наплывает вновь; мы отметим особую природу его гуманизма, эту волю к всеобщему братству, спорящую с самым упрямым индивидуализмом и с тем странным смешанным чувством любви, презрения, восхищения и недоверия, которое он испытывает к этим людям, не желающим его знать. Не думайте, что достаточно направиться к нему с распростертыми объятиями, и его доверие будет завоевано; он научился распознавать антисемитизм в самых торжественных декларациях либерализма. Он так же не доверяет христианам, как рабочие — новым буржуа, которые "выходят к народу". Психология утилитариста заставляет его подозревать в выражениях симпатии, которые ему кое-кто расточает, скрытый интерес, расчет, показную терпимость. И он в общем-то редко ошибается. Но несмотря ни на что, он страстно жаждет этой симпатии, ему лестны эти знаки уважения, которым он не доверяет, он желал бы оказаться там, вне ограды, вместе с этими людьми, среди них. Он лелеет несбыточную мечту вдруг силой явленной любви — и предъявленных доказательств доброй воли излечиться от своей всеохватной подозрительности. Стоило бы описать этот биполярный мир, эту разорванную душу, в которой каждое чувство расщепляется и зависит от того, кто его заронил, иудей или христианин. Любовь еврея к еврейке не та же, что его любовь к «арийке»; еврейская чувствительность глубоко рассечена, но это скрыто под мантией всеобщего гуманизма. Надо было бы отметить, наконец, безоружную свежесть и недисциплинированную спонтанность чувств еврея: всецело поглощенный рационализацией мира, неаутентичный израэлитянин, несомненно, может проанализировать свои страсти, но не может их дисциплинировать; он способен стать Прустом — но не Барресом. Дело в том, что дисциплина чувств и самодисциплина предполагают глубокий традиционализм, склонность к частному и иррациональному, применение эмпирических методов, спокойное пользование заслуженными привилегиями, — это принципы аристократического способа чувствования.

Соответственно понимается и христианский долг: позаботиться о себе. И аристократически чувствующие заботятся о себе как о декоративных растениях или как о тех бочках отборного вина, которые отправляют за море, вплоть до Индии, чтобы затем снова возвратить их домой, — морской воздух, проникнув в бочки, придает вину неповторимый привкус. Забота о себе вся пронизана магией и сопричастностью, но когда внимание постоянно обращено на себя, это в конце концов приносит и кое-какие плоды. Еврей, бегущий от себя, видит в психологических процессах скорее механическое функционирование, чем органическую жизнь; разумеется, он участвует в игре, поскольку ставит на рефлексии, но не он придумал эту игру, и даже нет уверенности, что он правильно уловил ее истинный смысл: рефлексия — не лучший инструмент психологического исследования. Таким образом, этого рационалиста все время переполняют подвижные, зыбкие массы эмоций и страстей. Он соединяет первобытный способ чувствования с изощренностью интеллектуальной культуры. В проявлениях его дружбы есть такая искренность, свежесть и теплота, какие редко встретишь у христиан, опутанных традициями и церемониями. Именно это, кстати, делает еврея таким незащищенным в страдании, и именно поэтому страдания его так невыносимо горьки. Но настаивать на этом не входит в наши планы; мы указали те следствия, которые может иметь неаутентичность еврея, этого нам достаточно. В заключение, попытаемся дать в самых общих чертах описание того, что называют еврейским беспокойством. Ибо евреи часто беспокойны. Собственно, у израэлитянина никогда нет уверенности в отношении его работы и имущества, он даже не может поручиться, что завтра он будет в той же стране, в которой живет сегодня; его положение, его свободы — вплоть до права на жизнь — могут быть поставлены под сомнение в любую минуту. Кроме того, как мы видели, его преследует тот неуловимый и унижительный образ, в котором его видит враждебная толпа. Его история — это история двадцати веков скитаний, и всякую минуту он должен быть готов снова взять свой посох. Человек, которому не по себе даже в собственной коже, непримиримо враждующий со своим телом, преследующий несбыточную мечту ассимилироваться, ускользающую при попытках приблизиться к ней, он никогда не ощущает самодовольной безопасности «арийца», который прочно утвердился на своей территории и так уверен в своих правах собственности, что может даже забыть о том, что он собственник, и считать природной связью, соединяющую его со страной. Но не следует думать, что беспокойство еврея — метафизическое. Оно совсем не похоже на ту тревогу, которую рождает в нас раздумье об условиях человеческого существования. Я бы даже сказал, что метафизическое беспокойство — это роскошь, которую еврей, равно как и рабочий, сегодня не может себе позволить. Чтобы задаваться вопросами о месте человека в мире и о его предназначении, надо быть уверенным в своих правах, прочно укорениться и избавиться от всех тех страхов, которые повседневно одолевают угнетенные классы и меньшинства. Одним словом, метафизика — вотчина арийских господствующих классов. (Не надо усматривать в этих замечаниях попытки дискредитировать метафизику: она снова станет главной заботой человека, когда люди добьются освобождения.) Природа беспокойства еврея не метафизическая, а социальная, и тревожит его, как правило, не место человека в мире, а его место в обществе; он не чувствует заброшенности человека посреди безмолвной Вселенной, потому что еще не вырвался из общества в мир.

А заброшенность он чувствует, находясь среди людей, и проблема расизма заслоняет ему вселенский горизонт. Это не тот случай, когда хочется, чтобы беспокойство продлилось; он не получает от него радости, он хочет только успокоения. Как мне говорили, во Франции

нет евреев-сюрреалистов — это понятно: сюрреализм, в своей манере, ставит вопрос о человеческом предназначении. Их сеансы разрушительства и шумиха, поднимаемая вокруг них, — все это сытые игры юных буржуа, непринужденно чувствующих себя в стране-победительнице, которая принадлежит им. И разрушительство, и рассуждения об условиях человеческого существования чужды еврею; он — человек общественный по преимуществу, потому что все его мучения — от общества. Именно общество, а не божественное постановление сделало его евреем, именно оно породило еврейский вопрос, ограничив перспективу его жизненного пространства, и поскольку он принужден совершать выбор своего «я» только в этом ограниченном пространстве, то и сам выбор образа его существования социален и предопределен обществом. Социальны его конструктивные планы интегрироваться в национальное сообщество, социальны его усилия осознать себя, то есть определить свое место среди людей, социальны его радости и беды, — но все это потому, что социально проклятие, тяготеющее над ним. И поэтому тем, кто захочет его упрекнуть в метафизической неаутентичности, кто захочет указать, что его постоянное беспокойство приводит к радикальному позитивизму, следует иметь в виду, что эти упреки обращаются против тех, кто их высказывает: еврей социален потому, что таким его сделали антисемиты.

Вот такой это человек, — человек гонимый, приговоренный выбирать себя, решая в фальшивой ситуации фальшивые вопросы, утративший из-за угроз враждебного к нему общества метафизические интересы и загнанный в рационализм отчаяния. Вся его жизнь — одно сплошное бегство от других и от самого себя. Его отчуждение так глубоко, что ему становится чуждым даже собственное тело. Его эмоциональная жизнь раздвоена и сведена к погоне за несбыточной мечтой о всеобщем братстве — в мире, которому этот мечтатель не нужен.

Кто виноват?

Это же в наших глазах он видит отражение того неприемлемого для него образа, который он хочет спрятать от самого себя. Это наше слово и дело — все наши слова и все наши дела, — и наш антисемитизм, и точно так же наш снисходительный либерализм — проникли ядом в его плоть и кровь; это мы заставили его выбрать себя евреем, неважно, убегающим или отстаивающим себя; это мы поставили его перед дилеммой еврейской аутентичности и неаутентичности. Мы создали этот человеческий род, который может быть определен только как искусственный продукт капитализма (или феодализма), произведенный с единственной целью — быть козлом отпущения в сообществе, все еще находящемся на дологической ступени развития. Этот человеческий род, говорящий о человеке больше, чем все остальные, потому что возник в результате вторичных реакций в недрах человечества, этот обездоленный, лишенный корней, без суда приговоренный к неаутентичности или пыткам человеческий вид — квинтэссенция человеческого. В этих обстоятельствах нет среди нас ни одного, кто не был бы полностью виновным, кто не был бы преступником: кровь евреев, пролитая нацистами, на руках каждого из нас.

Как бы там ни было, говорят мне, а еврей свободен: он может выбрать аутентичность. Это верно, но прежде всего нам надо понять, что нас это не касается; заключенный тоже свободен выбрать побег, если считать само собой разумеющимся, что он может остаться на проволоке, — разве от этого вина тюремщика меньше? Еврейская аутентичность заключается в выборе себя в качестве еврея, то есть в принятии своего положения еврея. Аутентичный еврей отказывается от мифа о всеобщем человеке, он себя понимает и в перспективе истории видит себя существом историческим и проклятым; он уже не убегает

от себя и не стыдится своих сородичей. Он понял, что общество дурно, наивный монизм неаутентичного еврея он заменил социальным плюрализмом; он знает, что он отделён, что он неприкасаемый, исключенный, изгой — и вот в таком качестве он себя отстаивает. Одновременно он отказывается от всякого рационалистического оптимизма. Он видит, что во имя иррациональных ценностей мир разделен иррациональными границами; принимая эти деления — во всяком случае в том, что касается его — и объявляя себя евреем, он признает эти ценности и эти границы, поэтому в собратья и сотоварищи он выбирает тоже евреев. Он ставит на человеческое величие, потому что соглашается жить в таких условиях, в которых жить, строго говоря, невозможно; и потому, что черпает гордость в своем унижении. В тот момент, когда он перестает быть пассивным, он отнимает у антисемитизма всю его силу и всю вирулентность потому, что, в отличие от неаутентичного еврея, который бежит от еврейской действительности и которого евреем насильно делает антисемит, аутентичный делает себя евреем сам, из "собственного материала", вопреки всем. Он принимает все, вплоть до мученичества, и обезоруженному антисемиту остается только лаять ему вслед: укусить уже не получается. Одновременно, аутентичный еврей, как и вообще всякий аутентичный человек, ускользает от описания. Те общие черты, которые мы обнаружили у неаутентичных евреев, были следствием общей для них неаутентичности; ничего похожего у аутентичного еврея мы не обнаружим: он таков, каким он себя сделал, — и это все, что можно о нем сказать. В своем добровольном изгнании он снова обретает в себе человека, — полноценного человека со всеми теми метафизическими горизонтами, какие предполагает человеческое состояние.

Тем не менее, вы, добрые души, не сможете успокоить себя, говоря: "Ну вот, поскольку еврей свободен, то пусть он тогда будет аутентичным, и у нас больше не будет болеть голова". Выбор аутентичности не решает еврейского вопроса ни в социальном плане, ни даже в индивидуальном, хотя, несомненно, аутентичных евреев сегодня намного больше, чем можно было бы предположить. В немалой степени их прозрению способствовали страдания, выпавшие на их долю в последние годы; мне даже кажется, что аутентичных евреев может быть больше, чем аутентичных христиан. Но сделанный ими выбор самих себя отнюдь не облегчает им жизнь, совсем напротив. Вот пример: один «аутентичный» французский еврей, участвовавший в боях 1940 года, возглавлял во время оккупации выходивший в Лондоне французский пропагандистский журнал. Писал он под псевдонимом, опасаясь за жену — «арийку», оставшуюся во Франции. То же самое делали многие другие, эмигрировавшие из Франции, и когда речь шла о них, это считалось правильным. Но когда доходили до него, ему в таком праве отказывали, говоря: "Ага, еще один жид, скрывающий свое происхождение". Статьи для публикации он отбирал, руководствуясь исключительно их ценностью. Если случался большой процент статей евреев, читатели ухмылялись и писали ему: "Что, вся семейка снова вместе?" А когда он не принимал к печати статью еврея, говорили, что он "насаждает антисемитизм". "Ну и что", скажут мне, "он же аутентичный, не должен был обращать внимания". Но это легче сказать, чем сделать: он не мог не обращать внимания как раз потому, что его деятельность состояла в пропаганде, — он же зависел от мнений. "Очень хорошо, значит, такой род деятельности не для евреев, — он должен был уйти". Ну, вот мы и вернулись к началу: вы соглашаетесь на аутентичность — когда она ведет напрямик в гетто. И это не кто-то другой, это вы отказываетесь искать решение вопроса. К тому же положение в обществе не стало лучше, и мы создали такие условия, которые привели к углублению раскола в еврейской среде. В самом деле, выбор

аутентичности может привести к различным, взаимоисключающим политическим решениям. Еврей может выбрать аутентичность, отстаивая свое место во французском сообществе, — и именно место еврея, с его правами и муками, а главной его задачей может стать доказательство того, что лучший для него способ быть французом — это утвердить себя в качестве французского еврея. Но с другой стороны, он может, следуя своему выбору, начать отстаивать права еврейской нации на свою территорию и независимость; он может прийти к убеждению, что еврейская аутентичность предполагает поддержку со стороны общины израэлитов. Возможно ли представить себе, чтобы эти взаимоисключающие решения могли сочетаться и дополнять друг друга — как два проявления еврейской действительности? Не так уж невозможно, но для этого не должно быть той постоянной слежки за евреями, когда они на каждом шагу рискуют дать в руки своим противникам оружие против себя. Если бы мы не создали для еврея его ситуации, то речь бы шла просто о возможности — причем всегда открытой — выбора между Иерусалимом и Францией; подавляющее большинство французских израэлитов выбрало бы Францию, а небольшая часть поехала бы увеличивать еврейское население Палестины, и это отнюдь не означало бы, что еврей, интегрированный во французское сообщество, сохраняет связь с Тель-Авивом, нет, самое большее, Палестина как символ встала бы для него в ряд неких идеальных ценностей, и независимое еврейское государство было бы для целостности французского общества не более опасно, чем, например, ультрамонтанский клир, с которым мы прекрасно уживаемся. Однако нынешнее состояние умов превращает это абсолютно законное право выбора в источник конфликта между израэлитами. С точки зрения антисемитов, конституирование еврейской нации является доказательством того, что еврей во французском сообществе неуместен. Раньше ему ставили в вину его расу, теперь не признают в нем соотечественника: нечего ему у нас делать, пусть убирается в свой Иерусалим. Так что аутентичность, приводящая к сионизму, противопоказана еврею, который хочет оставаться в своем отечестве, ибо она снабжает аргументами антисемитов. Французский еврей злится на сиониста, намеренного еще больше осложнить и так уже достаточно деликатную ситуацию, а сионист, в свою очередь, злится на французского еврея, которого априори обвиняет в неаутентичности. Таким образом, выбор аутентичности представляется моральным самоопределением, приносящим еврею уверенность в этическом плане, но этот выбор никак не может служить решением в плане социальном и политическом: ситуация еврея сохраняется и, что бы он ни делал, все по-прежнему обращается против него.

Изложенные нами соображения, разумеется, не претендуют на то, чтобы дать рецепт решения еврейского вопроса. Но не исключено, что на их основе можно будет по крайней мере уточнить те условия, которые очертят контуры этого решения. В самом деле, мы убедились в том, что вопреки широко распространенному мнению, не черты еврейского характера рождают антисемитизм, а напротив, именно антисемитизм создает еврея. Таким образом, первопричина явления — антисемитизм как регрессивное социальное образование, воспроизводящее мировоззрение дологической стадии развития. Ну, хорошо, — что делать? Прежде всего заметим, что решение всякого вопроса включает в себя определение цели, которой желательно достичь, и средств ее достижения. (Впрочем, многие начинают дискуссии о средствах еще до того, как уяснят себе цель).

Так чего же на самом деле можно желать? Ассимиляции? Но это несбыточно, ведь, как мы установили, истинный противник ассимиляции не еврей, а антисемит. С момента своей эмансипации, то есть в течение примерно полутора лет, еврей пытается стать полноправным членом общества, но общество его отталкивает. Следовательно, не имеет смысла воздействовать на него, чтобы он ускорил интеграцию, которую ему не дают начать: до тех пор, пока существует антисемитизм, ассимиляция не может быть реализована. Есть предложения применить кардинальные средства; даже некоторые евреи сами требуют перекрестить всех израэлитов и обязать их всех записаться Дюранами и Дюпонами. Но одной этой меры недостаточно, ее пришлось бы дополнять политикой смешанных браков и суровыми запретами на совершение религиозных обрядов (в частности, обрезания). Скажу прямо, такие меры мне кажутся негуманными. Да, возможно, что Наполеон собирался их осуществить, но Наполеон как раз и строил свои планы на принесении личности в жертву сообществу. Ни одна демократия не может пойти на проведение интеграции евреев ценой такого принуждения. Да и вообще, подобную процедуру могут приветствовать только неаутентичные евреи в период разгула антисемитизма, ведь она направлена не на что-нибудь, а на ликвидацию еврейской расы, она представляет собой предельное выражение той тенденции, которую мы уже отмечали у демократа, — просто-напросто отменить еврея в пользу человека. Но существуют евреи, протестанты, католики, существуют французы, англичане, немцы, белые, черные, желтые — а человек вообще не существует. То есть речь идет об уничтожении сообщества духовного, основанного на обычаях и привязанностях, в пользу сообщества национального. Большинство сознательных евреев отвергают ассимиляцию, если она должна произойти в такой форме. Да, они мечтают влиться в нацию, но в качестве евреев, — кто может их за это упрекнуть? Их вынудили осознать себя евреями и довели до понимания роли солидарности, — что же удивляться, что они теперь отвергают меры, направленные на уничтожение рода израэлитов? Убеждать, что они образуют нацию в нации, не стоит — напрасный труд. Мы попытались показать, что еврейское сообщество не является ни национальным, ни интернациональным, ни религиозным, ни этническим, ни политическим — это сообщество квазиисторическое. Еврея создает его конкретная ситуация, а объединяет с другими евреями идентичность ситуаций. Это квазиисторическое образование не следует считать каким-то инородным телом в общественном организме, как раз наоборот, оно — часть организма. Если церковь во времена своего всемогущества терпела его существование, то лишь потому, что считала выполняемые им экономические

функции необходимыми. Сегодня экономические функции выполняют все, но это не дает оснований отрицать тот вклад, который еврей вносит в духовный облик и специфический характер французской нации, способствуя поддержанию в ней равновесия. Мы объективно и, быть может, сурово обрисовали характерные черты неаутентичных евреев; среди них достаточно тех, кто выступает против ассимиляции как таковой. В то же время, их рационализм, их критический ум, их мечты о правовом обществе и всеобщем братстве, их гуманизм — делают их своеобразной закваской, необходимой обществу. То, что мы здесь предлагаем, это конкретный либерализм; вот его основа: каждый, кто своим трудом вносит вклад в процветание страны, обладает всеми правами гражданина этой страны. И дает ему эти права не какая-то его особая — сомнительная и абстрактная — "человеческая природа", а его активное участие в жизни общества. А это означает, что евреи, точно так же, как арабы или негры, будучи связаны с каким-либо национальным предприятием, имеют и соответствующие права на это предприятие: они — граждане. Но права эти они имеют в качестве конкретных личностей, то есть оставаясь евреями, неграми или арабами. В обществах, где женщина имеет право голоса, от нее не требуют изменять свой пол, подходя к урне: голос женщины весит ровно столько же, сколько голос мужчины, но голосует женщина именно как женщина — со своим женским характером, своими женскими заботами и женскими страстями. Мы должны признать законные права еврея, — и права более туманные, ни в каком кодексе не записанные, но столь же насущные; мы должны признать его равноправие не в качестве потенциального христианина, а в его собственном качестве французского еврея; мы должны принять его таким, какой он есть, с его характером, обычаями, вкусами, верой — если он верит, с его именем и физическим обликом. И если он будет принят нами безоговорочно, то это прежде всего облегчит еврею выбор аутентичности, а затем уже сам ход истории постепенно сделает возможной и ненасильственной ту интеграцию, к которой его хотели принудить.

Но конкретный либерализм, который мы только что определили, это — цель, и если мы не определим средств его достижения, есть очень большой риск, что он останется лишь идеалом. Как мы показали, воздействовать на еврея смысла не имеет; еврейский вопрос порожден антисемитизмом, следовательно, для его решения нужно подавить этот антисемитизм. То есть вопрос формулируется так: как воздействовать на антисемитизм? Не следует пренебрегать традиционными средствами, в частности, пропагандистскими и воспитательными; надо стремиться к тому, чтобы дети получали в школе такое образование, которое поможет им избегать ошибок, продиктованных страстями. Правда, есть основания опасаться, что результаты будут получены сугубо частные. Но не меньше оснований без каких-либо опасений запретить постоянно действующим законом высказывания и поступки, имеющие целью опорочить какую-либо категорию граждан страны. Мы не питаем иллюзий в отношении эффективности этих мер; законы никогда не стесняли и никогда не стеснят антисемита с его сознанием принадлежности к мистическому обществу, на которое не распространяются законы. Ведь сколько ни издавай декретов, все они будут рождены правовой Францией, а антисемит претендует на то, что он представляет истинную Францию.

Вспомним, что антисемитизм — это примитивная манихеистская концепция мира, в которой ненависть к еврею заняла место главного объяснительного мифа. Мы видели, что речь тут идет не об изолированном мнении, а о глобальном выборе ситуационным человеком самого себя и своего взгляда на мир. Антисемитизм выражает определенный,

примитивно-мистический смысл недвижимой собственности. Если мы хотим сделать выбор антисемитизма невозможным, мы не обойдемся пропагандой, образованием и юридическими запретами: они адресуются к свободе антисемита. А поскольку он, как и всякий человек, есть свобода в ситуации, то нам надо кардинально изменить его ситуацию; в самом деле, ведь достаточно изменить перспективы выбора — и изменится сам выбор; при этом свобода никак не ограничивается, но свободное решение принимается на другой основе и связывается с другими структурами. Политик никогда не должен воздействовать на свободу граждан, само его положение запрещает какие-либо меры такого рода, кроме «обратных», то есть предотвращающих ограничения свободы, — воздействовать можно только на ситуации. Мы констатировали, что антисемитизм — это страстное усилие создать национальный блок против разделения общества на классы; он стремится устранить групповой антагонизм, накалив общественные страсти до такой температуры, которая расплавит все барьеры. Но, столкнувшись с невозможностью преодолеть это разделение, не затронув его экономические и социальные причины, антисемитизм старается объединить все барьеры в один, различия между богатыми и бедными, между работающими и владеющими, между властью законной и властью невидимой, между живущими в городах и живущими в деревнях — и все остальные различия он сводит к одному: еврей — не еврей. Это значит, что антисемитизм есть мифическое и буржуазное представление классовой борьбы, и что он не мог бы существовать в бесклассовом обществе. Он провозглашает разделение людей, их изоляцию в недрах сообщества, столкновение интересов, измельчание страстей; он может существовать только в сообществах, где сильно структурированные «плюралистические» группы связаны достаточно низкой солидарностью; антисемитизм — это феномен социального плюрализма. В обществе, где все члены солидарны, потому что все участвуют в общем деле, для антисемитизма не нашлось бы места. И наконец, антисемитизм провозглашает некую, основанную на мистической сопричастности, связь человека со своим «добром», — связь, вытекающую из нынешних отношений собственности. В бесклассовом обществе, основанном на коллективной собственности на средства производства, когда человек избавится от призраков прошлого и начнет, наконец, свое дело, — строительство Царства Человека, для антисемитизма просто не останется почвы, его корни будут вырваны. Таким образом, аутентичный еврей, сознающий себя евреем в ситуации, созданной антисемитизмом, возражает против ассимиляции не больше, чем рабочий, сознающий свою классовую принадлежность, возражает против ликвидации классов. В обоих этих случаях осознание не только не мешает, но, напротив, ускоряет ликвидацию и классовой борьбы, и расизма. Но сегодня, когда против аутентичного еврея ведется война, он отказывается от невозможной для него ассимиляции и ждет радикального искоренения антисемитизма — для своих детей. Остается только сказать, что для ликвидации антисемитизма необходима и достаточна социалистическая революция, которую мы произведем в том числе и для евреев.

А пока — что, ждать? В конце концов, возлагать ответственность за решение еврейского вопроса на будущую революцию — это для тех, кто ничего не хочет делать. Но ведь речь идет о том, что непосредственно касается всех: мы солидарны с евреями потому, что антисемитизм ведет нас кратчайшим путем к национал-социализму. И потом, если мы не уважаем личность израэлиты, — кто станет уважать нас?

Если мы осознали эти опасности, если мы похоронили и прокляли наше невольное пособничество антисемитам, превратившее нас в палачей, тогда, может быть, нам пора понять, что нужно защищать права евреев не больше и не меньше, а так же, как наши

собственные. Сообщение о том, что вновь возрождается еврейская лига против антисемитизма, меня очень обрадовало: это доказывает, что дух аутентичности распространяется в среде израэлитов. Но будет ли эта лига эффективна? Многих евреев — и лучших среди них — удерживает от вступления в нее своего рода скромность. "Ну, еще не хватало", — сказал мне недавно один из них. И довольно неловко, но с искренней и глубокой стыдливостью прибавил: "Антисемитизм, преследования, — неважно это все". Понять это отвращение не трудно, но мы, не-евреи, должны ли его разделять? Негритянский писатель Ричард Райт недавно сказал: "В Соединенных Штатах нет проблемы негров, там есть только проблема белых". Мы почти повторим эти слова: антисемитизм — не еврейская проблема, это наша проблема. Поскольку мы сами тоже рискуем стать невинными жертвами, надо быть уж совсем слепыми, чтобы не видеть: речь идет прежде всего о нас. И не евреи должны начинать создание военизированного союза по борьбе с антисемитизмом, а мы. Само собой разумеется, такой союз не решит проблемы. Но если его поддержит вся Франция и он добьется официального признания государством, если он даст толчок к зарождению аналогичных союзов в других странах и впоследствии объединится с ними в международную ассоциацию, если эта ассоциация будет эффективно вмешиваться в неправые дела, где бы они ни совершались, если она будет использовать возможности прессы, пропаганды и воспитания, то будет достигнут тройной эффект. Во-первых, это позволит противникам антисемитизма найти друг друга и объединиться в действенное сообщество; во-вторых, организованная группа всегда создает поле притяжения, это позволит привлечь многих из тех неопределившихся, которые совсем не думают о еврейском вопросе; и наконец, наши противники, увлеченно противопоставляющие "истинное отечество" правовому государству, получили бы свой образ врага: сообщество, занятое не абстракциями всеобщего права, а конкретной практической борьбой. Тем самым у антисемита был бы отнят его любимый аргумент, основанный на мифологизации конкретного.

Дело израэлита будет наполовину выиграно, если только его друзья и защитники найдут в себе малую часть той страсти и той настойчивости, которые его враги тратят на то, чтобы его погубить. Для пробуждения этой страсти не стоит взывать к арийскому великодушию: и у лучших из них эта добродетель на грани исчезновения, но нужно объяснить каждому, что судьба еврея — это его судьба. Ни один француз не будет свободен до тех пор, пока еврей не сможет пользоваться всеми своими правами. Ни один француз не будет в безопасности до тех пор, пока хоть один еврей — и во Франции, и во всем мире — должен опасаться за свою жизнь.

1944

notes

«Береника». — Перевод Н. Рыковой.

Я сделаю здесь исключение для инженера, предпринимателя и ученого, которых их профессия приближает к пролетариату; среди них встречаются антисемиты, но не часто. — Прим. автора.

Манихеизм, манихейство (по имени полупоупендарного перса Мани — религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке в III веке н. э. и представлявшее собой синтез халдейско-вавилонских, персидских и христианских мифов и ритуалов. В Европе навеянное манихеизмом учение о дуализме Добра и Зла развивали павликиане, богомилы и катары.

P.P.F. — Partic Populaire Francaise — Французская народная партия.

Амок (малайск.) — психическое заболевание, наблюдающееся у жителей Малайских островов; краткий период расстройства настроения вызывает приступообразное помрачение рассудка, и больной пускается бежать, одержимый жадой разрушения и убийства.

Телосложение (нем.).

Заметим сразу, что речь идет о легенде, созданной христианской пропагандой диаспоры. Совершенно очевидно, что распятие — это римская казнь: Христос был казнен римлянами как политический агитатор. — Прим. автора.